

С.Н.Сергеев-Ценский

Севастопольская страда

часть II

Глава первая. Самодержец

Глава вторая. Другой самодержец

Глава третья. Третий самодержец — его величество капитал

Глава четвертая. Часы тревоги

Глава пятая. Дни ликований

Глава шестая. Дни надежд

Глава седьмая. Торжество логики

Глава восьмая. Канонада 5/17 октября

Глава первая. Самодержец

I

Великолепный фронтовик, огромного, свыше чем двухметрового, роста, длинноногий и длиннорукий, с весьма объемистой грудною клеткой, с крупным волевым подбородком, римским носом и большими навывкат глазами, казавшимися то голубыми, то стальными, то оловянными, император Николай I перенял от своего отца маниакальную любовь к военному строю, к ярким раззолоченным мундирам, к белым пышным султанам на сверкающих, начищенных толченым кирпичом, медных киверах; к сложным экзерцициям на Марсовом поле; к торжественным, как оперные постановки, смотрам и парадом; к многодневным маневрам, хотя и совершенно бесцельным и очень утомительным для солдата, но радовавшим его сердце картинной стройностью бравой пехоты, вымуштрованной кавалерии и уверенной в себе артиллерии — тяжелой, легкой, пешей и конной...

Будь он поэтом, он только и воспевал бы смотры, парады, маневры... но он не мог быть поэтом; он ничего не понимал в поэзии; он смешивал ее с вольнодумством, и если терпел во дворце наставника наследника-цесаревича, поэта Жуковского, то потому только, что тот был переводчиком благонамереннейших немецких (а не французских) поэтов.

Из всего огромнейшего гардероба генеральских мундиров разных

частей войск, один другого причудливее и краше, ему особенно нравился казачий: в нем он даже представлялся в Ватикане папе Пию IX, когда в 1845 году был в Риме. Он как бы спустился в папский дворец, чтобы монах в тиаре мог лицезреть последнее из воплощений Марса.

Он был тогда признанно могущественнейшим государем Европы, — значит, и всего мира.

Когда ему случалось бывать в собрании больших и малых немецких владык, начиная с короля прусского, стороннему наблюдателю могло бы показаться, что объединение Германии состоялось под верховенством русского царя, — с такими к нему относились преданностью и почтением коронованные особы Германии.

Умиравший император австрийский, престарелый Франц, умолял его на смертном одре не оставить без помощи его слабоумного сына, который должен был после его смерти вступить на престол Австрии, и Николай великодушно обещал свою помощь.

Он щедро раздавал русские ордена высоких степеней знатым иностранцам; он до того открыто благоволил к служившим у него в армии немцам, что талантливый генерал Ермолов, отставленный им от службы, не то в шутку, не то всерьез говорил: «Очень желал бы, чтобы меня произвели в немцы».

Иностранной политикой при Николае во все время его царствования ведал граф Карл Вильгельмович Нессельроде, финансами до 1843 года — граф Егор Францевич Канкрин, приехавший из Германии в год смерти Екатерины II; шефом жандармов был граф Бенкендорф; министром императорского двора — граф Адлерберг; министром путей сообщения — граф Клейнмихель...

Члены «Священного союза», основанного его братом Александром в 1815 году в Париже, — Австрия и Пруссия, — до последнего года царствования представлялись Николаю надежнейшими форпостами, охранявшими Россию от злобных революционных идей, рассадником которых являлась Франция.

Тут же после Июльской революции в Париже, когда был свергнут с престола Карл X, Николай послал графа Дибича-Забалканского в Берлин к прусскому королю, а графа Орлова — в Вену, к Меттерниху,

для обсуждения вопроса об интервенции на предмет восстановления свергнутых Бурбонов.

Однако члены «Священного союза»^{17} весьма охладели за пятнадцать лет к идеям «союза» и от вмешательства в частные дела Франции уклонились. А тем временем готовилось и, наконец, разразилось восстание в Польше, унесшее и Дибича, назначенного его усмирить, и старшего брата Николая, Константина, неудачного претендента на несколько престолов, между прочим и на константинопольский, к чему готовила его еще Екатерина II, его бабка.

Польское восстание так напугало Николая, особенно после нерешительных и, может быть, намеренно неудачных действий Дибича, что граф Паскевич, взявший по чужому плану Варшаву, признан был спасителем отечества, и ему приказано было воздавать царские почести.

Венский трактат 1815 года, завершивший наполеонаду, имел в виду главным образом охрану европейских правительств от разрушительных идей французской буржуазной революции. Заветы этого трактата достались Николаю по наследству от старшего брата, а воплощенные идеи революции он видел однажды воочию, когда утром 14 декабря 1825 года они вышли на Сенатскую площадь в лице хотя и плохо построенных, но вооруженных офицеров и солдат.

Это событие прочно оформило внутренний облик Николая: оно дало ему резкую прямолинейность. Борьба с революцией, в какой бы форме и в какой бы стране она ни появлялась, стала его навязчивой мыслью. Однако и Россия и вся Европа революционизировались, несмотря на то, что на страже тезисов венского трактата стоял двухметровый самодержавный драбант^{18}, ненавидевший свободную мысль.

Даже покровительство турецким подданным христианам простиралось только до бунта этих христиан против власти султана; раз поднимался бунт, Николай готов был помогать против бунтовщиков и самому султану.

От султана же хотел он выдачи повстанцев-поляков, бежавших в Турцию, и не только поляков, а и венгерцев, кроатов и прочих, спасавшихся там от преследования своего правительства по

политическим мотивам. По его настоянию, Австрия требовала, чтобы Порта сняла с крупнейших командных должностей своих генералов: Омера-пашу, Измаила-пашу, Селима-пашу, на том основании, что они — ренегаты, бывшие революционеры, а между тем они пересоздавали турецкую армию по западным образцам, и первый из них, Омер-паша, кroat по происхождению, путейский инженер по образованию, был впоследствии главнокомандующим турецкой армией на Дунае, в Евпатории и на Кавказе.

Революционные движения на Западе вспыхивали то там, то здесь с 30 года по 37-й — время чрезвычайно тревожное для Николая. Однако, зорко оберегая Россию в эти годы от «морового поветрия, охватившего Европу», Николай не забывал и другого завета, полученного им по наследству уже не от брата и даже не от отца, а от более умной и дальновидной бабки. Этот завет — крест на «святой Софии»^{19} и проливы в русских руках.

Когда Потемкин основывал Севастополь, он на западной окраине его приказал поставить огромный столб и на доске славянской вязью сделать четкую надпись: «Дорога в Константинополь». Это было вполне объяснимо: Потемкин был не только человек обширных планов, но в войнах с турками он провел последнюю часть своей жизни.

Войну с турками, как и войну на Кавказе с горцами, которых поддерживали тоже турки, Николай получил тоже по наследству, но он всеми мерами стремился эти две войны привести к благополучному для себя концу.

Едва оглядевшись на занятом престоле, он уже двинул свои армии против турок и в направлении на Эрзерум и, главное, в направлении на Константинополь.

Эрзерум сдался Паскевичу; до Константинополя не дошел Дибич. Пришлось заключить в Адрианополе мир.

Николай не сидел в это время в Петербурге, — он сам был в армии Дибича и видел своими глазами, что такое война. Он уехал в Одессу из взятой Варны только тогда, когда получил известие о тяжелой болезни своей матери, разбитой параличом.

Адрианопольский мир имел серьезное значение: Греция,

находившаяся под господством турок, получила самостоятельность, Сербия, Молдавия и Валахия — автономию, к России же отошли устье Дуная и Ахалцых.

Удачно был использован Николаем момент затруднений султана, когда восстал против него египетский паша Махмет-Али. Тогда, в 1833 году, в Ункиар-Скелесси, летней резиденции султана, был заключен договор с Портой, по которому за помощь против Египта Порта обязалась запереть Дарданеллы для военных судов западных держав. Этот договор не пришелся по душе Англии и Франции, стремившимся сохранить все свои привилегии и запереть России выход из Черного моря, преградить России доступ на Балканы. Были пущены в ход все средства борьбы, и через семь лет, когда истек срок этого договора, по настоянию этих держав Порта не возобновила его.

Уже тогда, за тринадцать лет до начала Восточной войны, положение было довольно близким к войне, и французский посол в Константинополе, генерал Гильемино, занятый вопросом о высадке союзного десанта в Крыму, наметил для этой цели именно Евпаторию. Но война не началась, потому что состоявшие в «сердечном соглашении» Англия и Франция перессорились тогда из-за Египта, на который слишком горящими, по мнению Англии, глазами вздумалось глядеть Франции.

Однако разногласия между сильнейшими морскими державами длились недолго; изворотливый руководитель английской политики лорд Пальмерстон не только возобновил с Францией прежние отношения, но еще и привлек ее подписать с Портой новый договор о проливах: военным судам, по новому договору, запрещалось проходить через проливы, но только до тех пор, пока Турция будет в состоянии мира.

Когда Николай увидел, что влияние его в Турции очень пошатнулось благодаря проискам Англии, он вздумал отправиться в Лондон, чтобы там на месте договориться по турецкому вопросу с английским правительством. Это было в 1844 году.

В Виндзоре устроили парад войск по случаю прибытия могущественного русского монарха, и на этом параде Николай имел случай не только показать свою безукоризненную посадку на коне,

свою гвардейскую выправку, свой звонкий командный голос, но и любезно сказать королеве Виктории, что в случае ее затруднений военного свойства она может вполне рассчитывать на всю его армию. Чтобы ознаменовать его посещение Англии, там выбили медаль с его профилем... Виктория писала королю бельгийскому Леопольду: «Этот приезд — великое событие для нас и знак большой учтивости к нам. Английский народ очень польщен этим визитом».

И сама королева и руководители английской политики — Пальмерстон, Абердин, Роберт Пиль и другие — все сделали вид, что очарованы и любезностью, и прямоотой, и даже величественной внешностью Николая.

Но вопрос о Турции так и не был решен визитом царя, и «сердечного соглашения» с Англией Николай не достиг.

II

Быть не только императором-самодержцем, но еще и талантливым артистом в роли императора — вот чем был особенно занят Николай за долгий срок своего царения.

Он охотно позировал художникам, и одному из них — Крюгеру — удалось изобразить его как исключительно картинного всадника на исключительно картинном коне.

Вставая рано, Николай не позволял себе отдыха днем: он желал быть образцовым императором, который неустанно печется о нуждах государства. Поэтому с самого утра он уже занимался в своем кабинете очередными государственными делами, принимал министров, накладывал свои резолюции на множество бумаг, — так до обеда в своей весьма многочисленной семье.

После обеда любил ходить пешком, однако не бесцельно: одно время он направлялся обыкновенно из Зимнего дворца в Мариинский, где жила его старшая замужняя дочь, герцогиня Лейхтенбергская.

Была и еще цель этих прогулок: наблюдать, правильно ли по форме одеты встречающиеся ему офицеры, кадеты, пажи, юнкера, как они становятся во фронт и какова вообще их выправка вне строя.

Однажды во время такой прогулки он встретил юнкера инженерной школы.

— Откуда идешь так поздно? — спросил его царь.

— Из депа, ваше императорское величество! — громогласно ответил юнкер.

— Дурак!.. Разве «депо» склоняется? — крикнул царь.

— Все склоняется пред вашим императорским величеством! — еще громче и самоотверженнее гаркнул юнкер.

Этот ответ понравился царю. Он милостиво разрешил юнкеру идти дальше. Он вообще любил, когда перед ним склонялись, и его боялись даже его министры.

Некий тайный советник Вронченко, по старшинству в чинах заместивший вышедшего в отставку дряхлого и почти слепого графа Канкрина в заведовании русскими финансами, не выдававшийся решительно никакими талантами человек, уличный потаскун и циник, всей своей последующей блестящей карьерой и графством был обязан только тому, что однажды до трепета рук и ног испугался грозного вида Николая.

Был обычный прием министров во дворце в утренние часы. Вронченко был на этом приеме самым младшим по своему положению, между тем как доклады министров производились по старшинству. Он смело мог бы явиться тремя часами позже, но, по новости дела, приехал раньше всех. Бывший тут же, как управляющий морским министерством, Меншиков отпустил на его счет обычную для себя остроту, что новый министр финансов явился на доклад, видимо, прямо с ночных своих походов на Невском проспекте.

Шутка вызвала общий смех; смех этот донесся до слуха царя, и он показался во весь свой рост в дверях кабинета с вопросом: «Что тут за шум?» Вид его был гневен и так испугал Вронченко, что он выронил портфель с бумагами для доклада, бумаги разлетелись по полу, и царедворцы теперь уж никак не могли удержаться от нового взрыва смеха при взгляде на трясущегося от страха, с выпученными глазами и разинутым, но безмолвным ртом министра финансов.

Однако царь сказал им недовольно: «Тут нет ничего смешного!» — и, приказав камер-лакею подобрать с полу бумаги, пригласил Вронченко к себе для доклада первым.

Но за свой верноподданнический страх перед самодержцем Вронченко

был награжден не только этим вниманием к себе. В первый же новогодний день, к которому приурочивалось большинство наград, он получил звезду и ленту Александра Невского, а вскоре после этого графский титул.

Его предшественник Канкрин считался гениальным финансистом; при Канкрине рубль ценился выше *at par* на иностранных биржах, а за ассигнации платили довольно большой лаж внутри страны. Этот чудаковатый, вечно боявшийся простуды старик любопытен был еще и тем, что один во всем русском государстве упорно не хотел подчиняться жестким правилам присвоенной ему по генерал-адъютантскому званию форме одежды и ходил зимою в теплых, на меху, ботфортах александровской эпохи, в теплой, на меху, шинели с поднятым воротником, обвязанным шерстяным шарфом, и в неизменном зеленом шелковом зонтике над глазами, боявшимся дневного резкого света. Единственная форменная часть костюма на Канкрине была треугольная шляпа с султаном из белых петушьих перьев.

И строгий царь не раз при встречах делал ему замечания, но Канкрин отвечал уныло: «Разве, ваше величество, желаете вы, чтобы я заболел и умер?.. Кто же тогда будет держать в порядке русские финансы?»

Однако и самый гениальный финансист не сможет упорядочить государственные финансы при плохой торговле, а время Николая было время крупного вывоза за границу помещичьего хлеба, хотя хлеб и сильно упал в Европе в цене по сравнению с первой четвертью девятнадцатого века.

После наполеоновских войн Западная Европа пользовалась очень долгим, почти сорокалетним миром, если говорить исключительно только о международных войнах. Народонаселение везде сильно увеличилось, промышленность развилась в ущерб земледелию. На русский хлеб появился очень большой спрос, и соперничать с Россией в этом не могли еще тогда ни Соединенные Штаты, ни Индия, ни какая-либо другая из английских колоний.

Но Канкрин ничего, конечно, не сделал для развития хлебной торговли; к сожалению, он ничего не сделал и для развития

железнодорожного дела в России; больше того: он оказался яростным противником рельсовых путей.

Старикам свойственна скупость, а дороговизна железных дорог просто испугала старого министра.

— И к чему, батюшка, эти рельсы, когда их все равно на полгода занесет снегом? Напрасная трата денег, батюшка мой!

По-русски он до конца дней своих изъяснялся с трудом и с сильным акцентом, но на немецком языке им было написано несколько ученых работ, главным образом по лесному делу, которое изучал он раньше, в Германии.

Он опасался, что железные дороги своей дороговизной расстроят так блестяще поставленные им русские финансы; поэтому, кроме вредоносного снега, он указывал Николаю на то, что рельсовые пути подорвут исконно русский извозный промысел. Наконец, охраняя русские леса, которые неминуемо истреблялись бы для топки паровозов, он в записке, поданной царю, называет железные дороги «истинным недугом века»; ввозить же в страну каменный уголь, а также рельсы — значит вывозить из России большие капиталы... Но, чтобы окончательно убедить Николая, хитрый старик ссылался, наконец, и на вред дорог этих явно политический: «Железные дороги подстрекают к частым путешествиям без всякой нужды и таким образом увеличивают непостоянство духа нашей эпохи...» Закончил же он свою докладную записку так: «Следует не только считать превышающей всякую действительную возможность мысль о покрытии России целой сетью железных дорог, но одно уже предположение сооружения железной дороги от С.-Петербурга до Казани надо признать на несколько веков преждевременным».

Так один из наиболее талантливых и просвещенных министров Николая оказался гораздо более консервативным, чем даже сам Николай, который все-таки понимал, что этой «болезнью века» необходимо заболеть, и заболеть как следует, и России.

Дорога между двумя столицами, единственная, построенная при Николае, начата была только после ухода в отставку Канкрин; обошлась она очень дорого казне и строилась очень долго — восемь лет! За то же время и за те же деньги можно было бы довести

рельсовый путь и до Одессы, и до Севастополя, и до Кавказа, и кто знает, решился ли бы тогда Запад на борьбу с Востоком на юге России?

Но тот, кто требовал от всех в государстве только охраны узаконенного порядка вещей, как мог бы он собрать около себя в лице министров людей широкой государственной мысли? Если Канкрин сидел, как наседка, на собранных им государственных деньгах, то другие министры так же, как он, ревностно охраняли свои ведомства решительно от всяких новшеств. Они и не могли проявить самостоятельности ни в чем по той причине, что царь то и дело вмешивался в их работу — работу отнюдь не созидательную, конечно, — а военным министерством управлял он всецело сам, предоставляя министру Чернышеву только исполнение личных «предначертаний» царя и за это награждая его всеми высшими степенями наград, включительно до титула «светлейшего князя».

Между тем, зачарованный бесподобной выправкой своих солдат, Николай не то чтобы не видел, он просто не хотел видеть того, как перевооружались западные армии, как вводился там новый рассыпной строй и многое другое.

Еще в 1834 году, после опытов с ружьем Роберта, отличавшимся гораздо большей скорострельностью, чем кремневые, раздались было робкие голоса за то, чтобы перевооружить и нашу пехоту, но генерал Муравьев докладывал особой запиской великому князю Михаилу Павловичу, что «введением сего ружья делается совершенно противное тому, что надобно (ибо и ныне уже пехота наша без меры и надобности стреляет)», что «привычку сию надобно бы извести в войсках, а не усиливать оружием, дающим способ к сему», что «у нас с сим ружьем войска перестанут драться и не достанет никогда патронов...»

Так и не было введено это ружье из боязни, что русский солдат с ним испортится!

У Михаила Павловича была любимая поговорка: «Война только портит солдат». Но если война только портила солдата и если хорошее ружье способно было испортить солдата, то что же такое был николаевский солдат?

В мозгу у начальства этого несчастного солдата твердо укоренилось сознание, что ружье солдату давалось только для ружейных приемов, в крайнем же случае для штыковых ударов. Так как ружейные приемы должны были делаться четко, хлестко, звонко, то винты в ружьях нарочно расшатывались, затравки рассверливались, и после всех этих поправок получалось оружие если и опасное вообще, то исключительно для тех, кто рискнул бы стрелять из него, зато совершенно безвредное для всякой живой и мертвой цели.

К стрельбе в цель относились тогда, как к пустой затее, зря отнимающей время от настоящего «обучения» войск. При заготовке боеприпасов тогда полагали, что даже для большой европейской войны русскому солдату за глаза довольно ста сорока патронов на ружье на всю войну.

Нарезные ружья не были полнейшей новостью в эпоху Николая: они являлись вооружением егерских батальонов еще при Екатерине II, но начали выходить из употребления еще при Павле, отовсюду, даже из ружей, вышибавшем «потемкинский дух»: нарезы в стволе мешали начальству рассмотреть как следует, чисто ли вычищен ствол. А ствол чистили тогда толченым кирпичом, и при Николае чистили так усердно, что ствол ружья стирался до толщины газетного листа. С такими-то ружьями и пошли в Крыму навстречу доброй половине Европы!

Знал ли Николай о том, что армии Англии, Франции, да и других европейских держав перевооружаются штуцерами Гартунга или Литтиха? Знал, — ему доносили об этом посланники; но только в 1853 году, году начала Восточной войны, он приказал ввести штуцеры в количестве тысячи восьмисот на каждый корпус пехоты, состоявший из сорока двух тысяч человек.

Одежда солдат преследовала разные цели, кроме лишь удобства.

Ранцы из тюленьей или телячьей кожи, квадратные, полуметровые, носились на широких ремнях, которые перекрещивались на груди. Эти ранцы с полной выкладкой весили около пуда. Вообще же тяжесть всего носимого солдатом на походе составляла два с четвертью пуда, а при дожде, когда намокала шинель, — до трех пудов — вдвое больше, чем в армиях французской и английской.

Грудь солдата была так сдавлена узкими мундирами и ранцевыми ремнями, что у многих во время походов открывалось кровохарканье от переполнения легких кровью.

Жалованья рядовой армейской пехоты получал два рубля с копейками в год, но у него было право, которого не имели даже высшие чиновники России, если только они числились по гражданской службе: это было право на усы! Даже офицеры инженерного ведомства (каким был, например, Достоевский) долгое время при Николае не смели носить усов как нестроевые; капельмейстеры как военные чиновники дирижировали усатыми солдатами; военные врачи, интенданты всех чинов были тоже безусые. Это правило было законом и соблюдалось строго.

Чтобы строевого военного даже в отставке можно было с первого взгляда отличить от презренного «рябчика» — штатского, ему разрешалось носить усы, но если кто из строевой службы переходил на нестроевую, тот прощался с усами.

Бороды же вообще никто не имел права носить, кроме духовенства, купцов и «простолюдинов». Женщины как лишенные усов и бороды от природы оставлены были властью в этом смысле в покое, но шляпки носить разрешалось только дворянкам и чиновницам; шляпка же, очутившаяся на голове купчихи или мещанки, вызывала привод в полицейский участок для составления протокола.

Оборона государства предоставлялась Николаем всецело живой силе войска. Все русские крепости, за исключением Севастополя, были в состоянии очень жалком, хотя сам Николай, еще будучи наследником, интересовался саперным делом и один из кабинетов его дворца носил название «инженерного» кабинета.

В числе крепостей был Свеаборг, предназначенный для защиты с моря Гельсингфорса, но крепость эта была при Николае в таком состоянии, что комендант ее не разрешал делать ни одного залпа в учебных целях, потому что от сотрясения при залпах неминуемо должны были рассыпаться крепостные стены.

И они рассыпались действительно, когда пришлось дать уже не учебный, а боевой залп по слишком близко подошедшей к безмолвной крепости английской эскадре адмирала Непира.

Консерватизм Николая был так велик и многообразен, что даже ни одна сколько-нибудь «крупная» постройка в каком бы то ни было городишке его обширного царства не могла начаться, если план и фасад ее по неперенному представлению ему для просмотра не был им почему-либо утвержден. Хотели ли строить церковь, казарму, Дворянское собрание, институт «благородных девиц» — все должно было идти на утверждение самого царя.

Наиболее способным строителем Николай считал Клейнмихеля, который угодил ему быстрой постройкой Зимнего дворца на месте сгоревшего.

Ему поручено было в одно и то же время наблюдать за постройкой трех совершенно различного вида сооружений: грандиозного Исаакиевского собора над Невой, который строил знаменитый архитектор Монферран, постоянного моста через Неву и вокзала железной дороги из Петербурга в Москву.

Но все эти три постройки велись так медленно, что это дало повод Меншикову пустить очередную остроту:

— Достроенного собора мы не увидим, но, может статься, его увидят наши дети; достроенный мост мы, пожалуй, увидим, но зато наши дети уж не будут его видеть, потому что он рухнет; а достроенной железной дороги не увидим мы, не увидят ее и наши дети!

Когда же железная дорога, хотя и очень поздно, все-таки достроилась, Меншиков говорил:

— У Клейнмихеля все поводы к вызову меня на дуэль; но я отвергну и пистолеты и шпаги. Я предложу ему сесть нам обоим в вагон в Петербурге и пуститься в опаснейший путь в Москву, а там уж посмотрим, кого из нас убьет при неизбежном крушении!

Крушение для них обоих готовила все-таки не Николаевская железная дорога, а, напротив, полное бездорожье юга России, одна из крупнейших причин севастопольского разгрома, после которого и тот и другой из этих деятелей эпохи Николая были отставлены от службы.

Понятие «взятка» было при Николае так неразлучно с понятием «чиновник», что даже министр юстиции граф Панин однажды дал взятку в сто рублей своему департаментскому чиновнику, выправлявшему какую-то вполне законную бумагу для его, Панина,

дочери; а понятие «казна», то есть казенные деньги, было бок о бок с понятием «красть», и казнокрадство доходило иногда до таких размеров, что, например, от полуторамиллионного «инвалидного капитала» за один год буквально ничего не осталось, причем инвалиды из этого капитала не получили ни копейки.

III

Чиновников за казнокрадство судили, ссылали в Сибирь, а там они снова приглашались местным начальством писать в канцеляриях и составлять отчеты, так как грамотных людей было в русских глухоманях мало.

Когда в 1827 году временно замещавший Воронцова на посту новороссийского генерал-губернатора граф Пален испрашивал позволения приговорить к смертной казни двух контрабандистов, оказавших вооруженное сопротивление при аресте, Николай отменил этот проект приговора, написав на нем: «Виновных прогнать сквозь тысячу человек двенадцать раз. Слава богу, смертной казни у нас не бывало и не мне ее вводить».

Он как будто забыл в это время о пятерых повешенных им декабристах. Однако эти двенадцать тысяч палок стоили не одной смертной казни, так как не было и не могло быть человека, который был бы способен вынести такое «наказание» и остаться в живых.

И если смертных казней в буквальном смысле слова после повешения Пестеля, Рылеева, Каховского, Бестужева-Рюмина и Муравьева-Апостола почти не было уж больше при Николае, то очень трудно было бы сосчитать всех забитых насмерть палками и кнутами за время его царения.

Палки из лозняка — шпицрутены — имели строго определенную толщину (несколько меньше вершка в диаметре) и были ровно в сажень длиной. Осужденный со связанными руками и обнаженной спиной проходил сквозь строй солдат, которые били его палками по спине изо всей силы. Если палки ломались, их тут же заменяли новыми. Начальство смотрело во все глаза, чтобы били солдаты «на совесть». Когда избиваемый падал, его приводили в чувство, и наказание продолжалось... Только мертвого переставали бить. Однако

кто же, кроме самого забитого насмерть, был виноват в том, что он не вынес нескольких тысяч палочных ударов?

Точно так же и наказание кнутом было как бы рассчитано на то, что человеческая выносливость неизмерима.

Кнутом били уже не солдаты, а особые мастера этого дела. Они выходили на площадь, к «кобыле», в старинной форме, присвоенной палачами: красных рубахах и широких плисовых шароварах. К «кобыле», толстой доске с прорезами для рук, палач прикручивал свою жертву, потом отходил от нее шагов на двадцать, на тридцать и торжественно медленно подходил снова, как бы лениво волоча за собой длинный кнут из сыромятной кожи. Уже с первого удара он рассекал спину до позвоночника; собирая кнут, он пропускал его через сжатую ладонь левой руки, чтобы снять с него кровь. Потом отходил снова на двадцать — тридцать шагов и так же медленно и торжественно подходил для нового удара. Иногда как бы чувствуя себя усталым, пил водку из штофа стаканом... При наказании обычно присутствовали священник и доктор. Если сплошь окровавленный, искалеченный человек переставал стонать, доктор давал ему нюхать спирт, и, когда находил, что он еще жив, истязание продолжалось.

Конечно, ни дворяне, ни чиновники, ни духовенство к телесным наказаниям не присуждались: они были опора трона. Не наказывались также и лица, получившие образование: Николай признавал все-таки, что интеллигенция довольно дорогой человеческий материал. Например, врачи. Он помнил, что во время русско-турецкой войны один врач приходился на шестьсот человек больных и раненых и неоткуда было их взять. В этом смысле он все-таки был расчетлив. Он каждый день убеждался в том, что содействовать высшему образованию в России необходимо.

Но когда раскаты революционного грома на Западе стали отчетливо слышны в России, Николай испугался, не слишком ли много и у него интеллигентов, весьма склонных, как ему было известно, к опасным шатаниям мысли.

Московский генерал-губернатор, князь Голицын, неосторожно брякнул в разговоре с ним, что не мешало бы в России ввести адвокатуру, так как без содействия адвокатов совершенно невозможно вести

гражданские дела в русских судах.

Николай гневно воззрился на него своими оловянными навывкат глазами и прикрикнул:

— Подумай раньше, чем говорить такое!.. Ты долго жил в революционной Франции, — это тебя испортило... Вспомни, кто были Робеспьер, Мирабо, Марат и другие! Адвокаты! Кто и теперь особенно заражен революционными идеями там и в других странах? Они же — адвокаты! И вот этих прохвостов ты советуешь мне расплодить в России?.. Не ожидал!

В Москве же он, столь возлюбивший полное единообразие форм одежды и даже человеческих лиц, заметил на улицах группы молодых людей в каких-то фантастических клетчатых пледах и в совершенно штатских шляпах и узнал, что это — студенты университета.

Московский университет был у него вообще на плохом счету в силу своей либеральности, и, когда бы Николай ни заезжал в Москву, он никогда не посещал этого подозрительного, на его взгляд, рассадника просвещения. Но пледы и шляпы на студентах заставили его вызвать попечителя учебного округа Голохвостова и накричать на него за то, что студенты не носят формы.

Голохвостов хотел оправдаться.

— Трудно усмотреть за всеми студентами, ваше величество! Их слишком много.

— Много? А как именно много? — грозно спросил Николай.

— Свыше тысячи... Поэтому надзор за ними вне стен университета весьма затруднителен для университетского начальства, ваше величество.

— В таком случае, — сказал царь, — оставить для удобства наблюдения за ними только триста человек, — слышишь? Остальных же уволить!.. За исключением медиков, — добавил он, вспомнив, что врачи весьма необходимы на случай войны.

В университетах допускалась при нем тень самоуправления: должности ректоров и деканов были выборными; но после 48 года уничтожена была и эта тень, и, например, вместо выбранного деканом историко-филологического факультета либерального Грановского был назначен благонамеренный Шевырев.

Вместо же рекомендованной Голицыным адвокатуры Николай ввел жандармерию, назначив своего любимца Бенкендорфа шефом корпуса жандармов, и вот «голубые мундиры» — эти «всевидающие глаза» и «всеслышащие уши» — ретиво замелькали здесь и там в русской жизни, замораживая всякое вообще проявление самостоятельной мысли у самых ее истоков.

Действуя по особым инструкциям, «по именному приказанию его величества», жандармские офицеры, даже и малых чинов, зорко следили и за губернаторами, являясь властью над властью, крепчайшей сетью, опутавшей весь организм России. И если офицеров, чиновников, духовенство за те или иные преступления не гоняли сквозь строй, не били палками или кнутами на площади, то все воспитание и обучение их происходило при воздействии розог. Необходимо было с мечтательных детских лет выбить всякое вольномыслие, чтобы получить надлежащего николаевского офицера, чиновника и попа; поэтому секли жестоко и в кадетских корпусах, и в гражданских школах, и в бурсе, так же как секли солдат в полках, матросов на судах, крепостных в конюшнях.

Это был век розог, кнута, шпицрутенов, ссылки и каторги.

Когда-то, еще будучи четырнадцатилетним, Николай писал на тему, данную одним из его наставников, сочинение о стойке на троне — Марке Аврелии-Философе^{22}. Ставши взрослым, он уже не писал никаких сочинений ни на какие темы, но, может быть, у него было немало минут, когда он вполне чистосердечно воображал себя именно стойком на троне, подобным Марку Аврелию, ложась спать в том или ином из своих великолепных дворцов на походную кровать, на тонкий тюфяк, набитый сеном.

Он не курил и не любил, чтобы около него курили его близкие; он почти не пил никаких спиртных напитков; пруссак до мозга костей, он всячески хотел казаться истинно русским, и потому щи и гречневую кашу предпочитал изысканным изделиям французской кухни; на ужин ему подавали только суп из протертого картофеля.

У него и маленький, всего девятилетний внук, первенец наследника престола, будущего Александра II, приучался нести военную службу всерьез и на деле: стоял иногда часовым у будки во дворе дворца. И

когда начинался при этом очень частый гость Петербурга — дождь, маленький Николай (впоследствии умерший юношей) накидывал на себя огромную шинель гвардейца, лежавшую в будке, и все-таки выстаивал положенные два часа, пока разводящий не приводил ему на смену нового часового; а в окно дворца на сынишку, храбро высовывавшего нос из огромной шинели, на три четверти валявшейся на земле, испуганными глазами глядела его мать и заламывала в отчаянии руки: «Простудится!.. Непременно простудится!»

Ненавидя Францию за то, что она была поставщиком на весь мир революционных идей, Николай все-таки любил ходить во французский театр, и наоборот: будучи немцем в душе и по крови, имея немку жену, опираясь на немецкие государства, как на союзные, он терпеть не мог немецкого театра и никогда туда не ходил, хотя и французский и немецкий театры Петербурга одинаково содержались на казенный счет.

Иногда, но гораздо реже, чем французский, он посещал и русский театр. В целях борьбы со сплошным взяточничеством своих чиновников он сам разрешил к постановке пьесу «Ревизор», и хотя она очень не понравилась ни его министрам, ни всему высшему петербургскому обществу, а старый Канкрин ворчал на первой постановке: «Какая глупая фарса!» — все-таки Николай не позволял снимать ее со сцены.

За сверхпатриотическую пьесу однокашника Гоголя Нестора Кукольника — «Рука всевышнего отечество спасла» Николай пожаловал автору бриллиантовый перстень, а за правдивую, но резкую критику этой пьесы закрыл журнал «Московский телеграф» Полевого.

По его «высочайшему» заказу Айвазовский написал картину «Синопский бой», Боголюбов — «Бой адмирала Корнилова на пароходе «Владимир» с турецким пароходом «Перваз-Бахры»; художник Машков командирован был на Кавказ в действующую армию Паскевича для увековечения его подвигов и написал картину «Сдача крепости Эрзерум»... Николай поощрял изобразительное искусство.

Он любил бывать и в оперном Большом театре, и патриотическая опера «Иван Сусанин» Кавоса пользовалась его неизменным

вниманием.

Для него на слова придворного поэта Жуковского капельмейстер придворной капеллы, духовный композитор Львов, написал гимн «Боже, царя храни!». Три дня Николай то и дело подходил к партитуре этого гимна и играл основную мелодию его на флейте или пел слова присущим ему царственным тенором; несколько раз слушал его в исполнении своей капеллы и соединенного оркестра гвардейских полков. Наконец, объявил его национальным русским гимном.

Пушкин назвал его брата Александра I «кочующим деспотом», но мог бы сказать то же самое и о нем.

Древние полагали, что хорошо управлять можно только таким царством, размеры которого не превышают четырех дней конного пути от центра до любой из его границ.

Со времен Петра размеры русского государства далеко превышали все скромные представления древних; однако Николай ревностно колесил по России.

Он не был только в Сибири, куда, начиная с декабристов, высылал в ссылку и на рудники тысячи людей, но он часто ездил на смотры и маневры в отдаленные концы Европейской России, причем не один раз бывал и в Севастополе.

Он добрался даже и до Эривани, за взятие которой дал Паскевичу титул графа Эриванского, и, посмотрев на низкие глиняные стены этой «крепости», удивленно спросил своего «отца-командира»: «Что же тут было брать?»

В Геленджике на смотре кавказских войск сильный ветер сорвал и унес его фуражку; на Военно-Грузинской дороге опрокинулся его экипаж, но, повиснув на краю пропасти, он сам счастливо отделался только ушибами; зато, когда он подъезжал к родному для Белинского и Лермонтова уездному городишке Пензенской губернии Чембару, кучер вывалил его из экипажа с меньшим успехом: Николай сломал при этом ключицу и левую руку, должен был пешком идти семнадцать верст до Чембара и пролежать там на попечении местных эскулапов целых шесть недель, пока не срослись кости.

Когда же стал поправляться, то захотел увидеть чембарских уездных чиновников, и пензенский губернатор Панчулидзеv собрал их в зале

того дома — дома уездного предводителя дворянства, в котором жил император.

Они сошлись, одетые в новую, залежавшуюся в их сундуках и пропахшую махоркой — от моли! — форму, очень стеснительную для них, кургузых, оплывших, привыкших к домашним халатам, и стали, выстроившись по старшинству в чинах, в шеренгу, при шпагах, а треугольные шляпы с позументом деревянно держа в неестественно вытянутых по швам руках...

Трепещущие, наполовину умершие от страха, воззрились они на огромного царя, когда губернатор услужливо отворил перед ним дверь его спальни, а Николай осмотрел внимательно всю шеренгу и сказал по-французски губернатору, милостиво улыбаясь:

— Но послушайте, ведь я их всех не только видел, а даже отлично знаю!

Губернатору была известна огромная память царя Николая на лица и фамилии, но он знал также и то, что до этого Николай никогда не был в Чембаре, и он спросил его недоуменно:

— Когда же вы изволили лицезреть их, ваше величество?

И Николай ответил, продолжая милостиво улыбаться:

— Я видел их в Петербурге, в театре, в очень смешной комедии под названием «Ревизор».

IV

30 марта 1842 года Николай собрал членов Государственного совета на чрезвычайное заседание по крестьянскому вопросу.

Он вошел в зал совета одетый в блестящий конногвардейский мундир. С ним был наследник, а за великим князем Михайлом Павловичем послали нарочного.

Члены Государственного совета все были в сборе, за исключением трех-четырех глубоких старцев, явно расслабленных и ни к какому передвижению неспособных.

На этом собрании Николай произнес большую речь о крепостном праве, называя его «злом, для всех ощутительным и очевидным, но прикасаться к которому теперь было бы еще более губительным делом».

Он говорил, что «никогда не решится дать свободу крепостным, так

как это было бы преступным посягательством на общественное спокойствие и на благо государства. Пугачевский бунт показал, до чего может дойти буйство черни. Позднейшие попытки в таком же роде были до сих пор счастливо прекращаемы, что конечно, и впредь будет точно так же предметом особенной и, с божьей помощью, успешной заботливости правительства, но нельзя скрывать от себя, что теперь мысли уже не те, какие бывали прежде, и каждому наблюдателю ясно, что нынешнее положение не может продолжаться навсегда».

В этой перемене мыслей Николай обвинял в первую голову тех либеральных помещиков, которые давали и дают образование своим крепостным и тем вообще расширяют круг понятий крестьян.

Однако, хотя и не высказываясь за уничтожение крепостного права, Николай говорил о том, что «надобно приготовить пути для постепенного перехода к другому порядку вещей и, не утрущаясь перед этой переменой, обсудить ее пользу и последствия. Не должно давать вольности, но должно проложить дорогу к переходному состоянию, а с этим связать ненарушимое охранение вотчинной собственности на землю...»

Минута была торжественная: своего грозного императора слушали старые заматерелые крепостники; он же говорил без всяких видимых усилий и без запинок: вопрос этот был им продуман, речь приготовлена заранее.

Звучный голос его — голос площадей, марсовых полей, учебных плацев — здесь, в строгом зале Государственного совета, свободно доходил до слуха даже наиболее тугоухих за преклонностью лет. Они встревоженно переглядывались иногда украдкой, стараясь угадать, как все-таки далеко способен зайти преобразовательный пыл царя и что собственно означает эта «дорога к переходному состоянию».

Но дальнейшая часть речи царя давала уже порядочные надежды, чтобы остаться спокойными. Николай говорил: «Невозможно ожидать, чтобы дело принялось вдруг и повсеместно; это даже не соответствовало бы и нашим видам...»

Но самое утешительное для старцев-крепостников (на собрании их

было всего тридцать четыре) ждало их впереди. Даже на этом торжественном заседании высших чинов и в высшем государственном учреждении самодержец не мог обойтись без острастки.

Упомянув о том, что вопросом о крестьянах долго и обстоятельно занимался особый, по его приказанию, комитет, результаты работ которого он не решился подписать без особого пересмотра их в Государственном совете, Николай заявил, что он очень недоволен болтливостью членов совета, «той публичной, естественно преувеличенной народной молвой, источники которой отношу к неуместным разглашениям со стороны лиц, облеченных моим доверием».

Боязнь гласности проявилась в полной мере и здесь. Понятно, что после таких слов царя, закончивших его получасовое выступление, наступило подобострастное молчание, и все члены совета сидели неподвижно, глядели на царя неотрывно и молчали безукоризненно верноподданно, пока это молчание не надоело самому царю, и он приказал прочитать выработанный комитетом проект указа о крестьянах.

Однако лишь только по предложению царя члены совета начали высказывать свои мысли, и наиболее либеральный из них — князь Голицын — сделал замечание, что если предоставить улучшение участи крестьян доброй воле помещиков, как это было сказано в прочитанном проекте указа, то никаких улучшений нельзя будет дожидаться, а лучше прямо указом царя-самодержца ограничить власть помещиков, — Николай торопливо перебил его:

— Я, конечно, самодержавный и самовластный монарх, но на такую меру никогда не решусь!

Совещание это кончилось ничем. Даже восстановить трехдневную барщину, введенную было его отцом, но отмененную братом Александром, Николай не решился, хотя едва ли кто-нибудь внимательнее его читал проекты декабристов об отмене крепостного права и выслушивал их пылкие молодые показания по этому предмету на допросах.

Комитетов для рассмотрения вопроса о крепостных учреждалось еще несколько и после того, но они ни к чему не привели, а революция 48

года в Западной Европе совсем сняла с очереди этот вопрос при Николае.

На заседании Государственного совета 30 марта не присутствовал князь Меншиков, сославшийся на болезнь, но он боялся просто, чтобы кто-нибудь из его многочисленных врагов в совете не напомнил ему публично о либеральной выходке его в юности, когда он, совместно с графом Воронцовым, графом Потоцким, князем Вяземским, Васильчиковым и двумя братьями Тургеневыми — Николаем и Александром, подал императору Александру декларацию об освобождении крестьян.

За этот смелый шаг он, как и все прочие, подвергся опале, исключен был из службы и должен был уехать в деревню. Но теперь взгляды его настолько радикально переменились, что он даже одним своим появлением в совете не хотел вызвать у кого-либо воспоминания о своем старом либерализме. Особую докладную записку, в которой «решительно преждевременной» назвал даже и самую мысль об освобождении крестьян, Меншиков подал Николаю потом, на обычном приеме им министров.

Еще года за четыре до чрезвычайного заседания Государственного совета Николай учредил новое министерство — государственных имуществ, которое должно было ведать не крепостными, правда, а государственными крестьянами, то есть крестьянами, не принадлежавшими помещикам, и во главе министерства этого поставлен был генерал Киселев.

По мысли Николая, новое министерство должно было поднять нравственность и зажиточность государственных крестьян, а также устраивать для них школы и больницы.

Но если великое множество чиновников, которое устроилось на службу в новом министерстве, и обрело для себя неплохие средства к достаточной жизни, то на крестьян лишним бременем легло содержание их; что же касается больниц, то даже и к концу царствования Николая одна лечебница приходилась на миллион крестьян, ученых же повивальных бабок было не свыше сорока на все ведомство.

Когда же Киселев начал усиленно заботиться о благосостоянии

государственных крестьян и вводить среди них усовершенствованные приемы сельского хозяйства, то это привело к «картофельным» бунтам, а в Шадринском уезде Пермской губернии в 43 году был довольно крупный, охвативший несколько волостей бунт на почве ложных слухов, будто государственных крестьян здесь казна продала помещику.

В наследство от своего брата Александра Николай получил военные поселения, насажденные и взлелеянные Аракчеевым; жизнь этих солдат-крестьян была беспросветно несчастна. Иногда они восставали и убивали свое начальство, как это было, например, во время холерного бунта в Новгородской губернии, но их усмиряли жестоко и беспощадно.

И, однако же, все эти крестьяне — крепостные, государственные, военнопоселенцы, — забритые в солдаты по рекрутскому набору или взятые в ополчение и украшенные здесь медными крестами на картузах и шапках, защищали своею грудью в Севастополе от натиска англо-французов военную славу России.

V

Когда Николай появился на свет, бабка его Екатерина II писала о нем своему старинному корреспонденту Гримму{23}:

«Сегодня мамаша родила большущего мальчика, которого называли Николаем. Голос у него бас, и кричит он удивительно. Длиною он аршин без двух вершков, а руки немного менее моих. В жизнь мою в первый раз вижу такого рыцаря. Если он будет продолжать, как начал, то братья его окажутся карликами перед этим колоссом!..»

Поэт Державин не замедлил предречь ему великую будущность:

Он будет, будет славен!

Душой Екатерине равен!

Пушкин в 1826 году, когда Николай разрешил ему выехать из Михайловского, написал известные «Стансы» — напоминание о его пращуре Петре:

Семейным сходством будь же горд,

Во всем будь пращуру подобен...

Однако колоссального роста и могучего голоса оказалось далеко не

достаточно, чтобы стать вторым Петром. Не помогли Николаю и огромная трудоспособность и память, если и отнюдь не «незлобная», то все же, по общим отзывам современников, выдающаяся.

Петр в умственном движении вперед своего народа видел прогресс, Николай — революцию; Петр делал из пирожников министров и из простых кузнецов — королей железа и стали; Николай — из людей государственного ума и способностей делал висельников и каторжников, из даровитейших поэтов — солдат.

Его долголетняя и упорная борьба с мыслью беспримерна в русской истории. Ее он начал с первых же дней своего царствования новым «уставом цензурным».

В уставе этом было 230 параграфов. Установлен был верховный цензурный комитет из трех министров: просвещения, внутренних и иностранных дел.

При выполнении всех правил этого устава литература русская могла существовать, только едва дыша.

Но после европейской революции 30 года петля цензуры затянулась гораздо туже.

Николай, как и во всех областях управления, стремился делать все лично и в этой области.

Он не только был цензором Пушкина; он находил время быть строжайшим цензором решительно всей тогдашней — правда, поневоле небогатой — литературы, особенно журнальной. Ходатайства о разрешении на издание новых журналов или газет шли непосредственно к нему, и он клал большей частью резолюцию краткую, но выразительную: «Не нужно!»

Журнал Киреевского «Европеец» запрещен был с первой же книжки за статью его «19-й век»; запрещена была «Литературная газета» Дельвига; запрещен журнал «Телескоп» Надеждина, причем сам Надеждин сослан в Усть-Сысольск за помещение «Философического письма» Чаадаева, который по царскому приказу объявлен был сумасшедшим...

Цензоров, пропустивших те или иные не одобренные царем статьи, сажали на долгие сроки на гауптвахту. Даже о дороговизне извозчичьих такс нельзя было писать в газете, так как это

принималось за порицание действий полиции, составлявшей таксы. Лиц, заведовавших цензурой, было гораздо больше, чем всех книг, выпущенных в царствование Николая.

Когда начала строиться железная дорога между столицами и появились первые робкие статьи об этом в газетах, Клейнмихель испросил у Николая разрешения, чтобы все, что пройдет через цензуру по этому предмету, шло потом к нему на утверждение и без его ведома не печаталось.

Служащие военного и гражданского ведомств ничего не смели отправлять в печать без разрешения на то своего начальства. Гласности боялись, как источника революции.

Могли быть миллионные хищения; губернаторы могли буквально грабить откупщиков и купцов; десятки тысяч людей могли умирать от голода, как это было в ряде губерний в исключительно неурожайный 1840 год, — ни слова об этом нельзя было помещать в газете.

А один из цензоров не пропустил даже такой строчки в учебнике географии Ободовского: «На севере России ездят на собаках». Он написал на полях книги: «Как будто в России не хватает лошадей! И что подумают об этом иностранцы?»

Литература русская была разгромлена. Погибли Грибоедов, Пушкин, Полежаев, Марлинский... Когда был убит на дуэли Лермонтов, Николай сказал: «Собаке собачья и смерть!»... Ямская тройка с жандармами увезла в Вятку Салтыкова-Щедрина, который и пробыл там семь с лишком лет; угас Гоголь; за статью на его смерть был засажен под арест Тургенев, а через месяц отправлен в свое имение без права выезда оттуда куда бы то ни было; на каторге изнывал Достоевский; в эмиграцию ушли Герцен и Огарев; десять лет томился в Орской крепости, в Оренбургском крае, Шевченко, живописно-насмешливо сказавший о той эпохе, в какую пришлось ему жить:

От молдаванина до финна —

На всех языках все молчит,

Бо благоденствует!

Николай процарствовал лет тридцать, а заморозил Россию на шестьдесят.

Глава вторая. Другой самодержец

I

В 1829 году, когда длилась еще война с Турцией, на русскую службу в армию Дибича хотел поступить волонтером двадцатилетний принц Луи-Наполеон, племянник Наполеона I, сын бывшего короля Голландии Людовика, брата Наполеона, и падчерицы Наполеона — Гортензии Богарнэ.

Когда доложили об этом желании молодого принца Николаю, он отказал наотрез; он даже топнул при этом ногою от возмущения: он вообще не выносил напоминания о ком бы то ни было из наполеонидов.

Луи-Наполеон рос при матери, вполне унаследовав от пылкой креолки склонность к безбрежным фантазиям при внешнем спокойствии, чудовищный эгоизм при самом любезном обхождении с окружающими, решительность замыслов, не всегда связанную с решительностью действий.

Гортензия Богарнэ получила воспитание в светском Сен-Жерменском институте, где основным предметом было *l'art de plaire* — искусство нравиться; это искусство она постигла вполне, его же передала она и своему сыну.

Между прочим она имела и талант к живописи и занималась ею под руководством знаменитого художника Изабе. Отец же Луи-Наполеона тоже увлекался искусством и литературой, писал стихи, романы, кое-что из истории фамилии Бонапартов и прочее. Это тоже передалось будущему императору Франции.

Впрочем, муж Гортензии, Людовик, не считал Луи-Наполеона за своего сына: он даже не приехал к его родинам и крестинам. Как настоящего и подлинного отца Луи-Наполеона ему называли Деказа, будущего министра полиции, с которым познакомилась Гортензия, будучи одна на водах в Котерэ, в Пиренеях.

Впоследствии, разойдясь уже с мужем, Гортензия родила еще сына от графа Флахо; этот побочный брат Луи-Наполеона стал известен под именем графа Морни и деятельно помогал своему брату Луи

взобраться на престол Франции.

Николаю было тогда восемнадцать — девятнадцать лет, когда он, сопровождая своего старшего брата, победителя Наполеона, был в Париже в 1814 году. Он видел тогда и Гортензию, старавшуюся — и не без успеха — вскружить голову мягкосердечному Александру, и ее шестилетнего сынишку — Шарля-Луи-Наполеона. Он гостил даже вместе с братом в ее имении Сен-Ле, где, окончательно очарованный Гортензией и ее умением петь под игру на арфе романсы, причем и слова этих романсов и музыка к ним были сочинены ею, Александр обещал ей титул герцогини Сен-Ле, чего, конечно, без труда добился от Людовика XVIII Бурбона, им же и посаженного на французский престол на место отрекшегося и сосланного на Эльбу Наполеона.

Передавая лично патент на герцогство Сен-Ле Гортензии, к которой заехал на пути в Англию, Александр поручил секретарю русского посольства особую заботу о денежных делах герцогини и приказал сообщать непосредственно ему, если возникнут затруднения для нее в этих делах.

Такая забота о дочери Наполеона (которому вздумалось удочерить свою падчерицу, бывшую всего на четырнадцать лет моложе его) очень не нравилась юному Николаю.

Гортензия же, освободившись от всякой опеки со стороны своих близких (мать ее, Жозефина Богарнэ, первая жена Наполеона, неожиданно умерла), во всю ширь развернула свои познания в основном предмете аристократического Сен-Жерменского института, применяя их сразу в отношении нескольких венценосцев и их наиболее видных государственных деятелей.

Даже и сам Людовик XVIII был так очарован ею, что кое-кто советовал ему добиться ее развода с мужем и на ней жениться.

Однако, увлекаясь устройством своих личных дел, она забывала, что осталась единственной высокопоставленной бонапартисткой в Париже. Об этом ей часто напоминал муж в своих письмах, об этом ей напоминали немногие бонапартисты, приходившие к ней, чтобы пристыдить «дочь Наполеона», предавшуюся его врагам. Наконец, случилось то, чего она не ожидала: бежавший с Эльбы Наполеон появился в Париже, и Гортензия как ни в чем не бывало помчалась к

нему. Теперь она была снова дочерью Наполеона.

Однако названный отец принял ее сурово. Он говорил ей, что она действовала позорно, вымаливая титул и земли у его победителей; он ужасался, как могла она даже вообще о чем бы то ни было говорить с его врагами...

Гортензия тихо плакала и молчала. Что могла она сказать в свое оправдание? Сильная в нескольких искусствах, она хорошо знала только одну науку — нравиться, и жизненный опыт ее доказывал ей на каждом шагу, что это — самая полезная из наук. Единственное, что она могла сказать, наконец, — это о будущности двух детей, за которых она болела сердцем.

Но тут огромная толпа, собравшись под окнами дворца, кричала все громче и громче приветствия Наполеону, еще не вполне доверяя слухам о его возвращении с Эльбы, и он, сорвав с места рыдающую Гортензию и грозно приказав ей мгновенно осушить потоки слез и начать очаровательно улыбаться, появился рядом с ней в окне. Народ принял ее за Марию-Луизу, народ снова видел императора в его спокойной семейной обстановке, — все было в порядке, — народ заревел от восторга.

Наполеон примирился с Гортензией: в королевском дворце Тюильри{24} нужна была хозяйка для приемов, так как жена Наполеона Мария-Луиза бежала из Франции. Гортензия и стала этой хозяйкой на все сто дней новой наполеонады вплоть до конца ее при Ватерлоо.

Новое и явно непоправимое уже падение Наполеона заставило Гортензию выехать из Парижа, так как союзники отнеслись к ней теперь как к яркой бонапартистке, и она действительно впоследствии стала ею: культ Наполеона воцарился в замке Арененберг, в швейцарском кантоне Тургау, где она после долгих мытарств поселилась прочно.

В этом скромном замке сформировалась довольно сложная личность будущего противника Николая.

Если существует в богатой копилке человеческих типов этот странный тип заговорщика от молодых когтей, глядящего кругом подозрительно и исподлобья, не доверяющего не только своим близким, но и самому

себе, зорко следящего за каждым своим движением, чутко слушающего каждое свое слово, то именно таким прирожденным заговорщиком и был в свои молодые годы принц Шарль-Луи-Наполеон.

II

Старшего своего сына отобрал у Гортензии по суду Людовик Бонапарт и увез во Флоренцию, так что все материнские заботы ее сосредоточились только на Луи.

В доме матери еще при жизни ее в Париже маленький Луи видел только наиболее знаменитых людей своего времени. Как м-м Рекамье^{25} или Сталь^{26}, имевшие свои салоны, Гортензия стремилась привлекать к себе в дом людей, о которых говорил Париж. Среди них были не только наполеоновские генералы и полковники, но иногда и писатели, художники, композиторы, даже ученые, которые как истые французы умели быть интересными в разговоре с хозяйкой дома, несмотря на свою ученость.

С тех пор как Гортензии предложено, было выехать из Парижа и она попала под надзор дипломатических агентов «Священного союза», переезжая из города в город, она поняла, что время пения романсов под аккомпанемент арфы и время акварельных этюдов и автопортретов в манере ее учителя живописи Изабе прошло надолго, если не навсегда.

По иронии судьбы категорический приказ короля Людовика XVIII о немедленном выезде из Парижа ей привез тот самый Деказ, которого молва называла отцом Луи.

Из иных городов ей приказывали выехать уже через два часа после приезда. Она была доведена этим до такого отчаяния, что говорила не раз:

— Мне остается только броситься в озеро!

Так усиленно считали ее ярой бонапартисткой, что ей ничего больше и не оставалось, как сделаться ею. И вместо былых поэтов и художников ее стали окружать исключительно бонапартисты.

Однако в 1821 году Наполеон умер в своем заточении. Казалось бы, с его смертью должна была умереть и бонапартистская идея. Нет, она

питалась надеждами на сына Наполеона от Марии-Луизы, на рождение которого поэты того времени написали тысячу триста стихотворений.

Провозглашенный еще в колыбели римским королем, сын Наполеона назывался теперь скромнее — герцогом Рейхштадтским и жил вместе с матерью при дворе императора Австрии — Франца.

И, признавая его первым претендентом на французский престол, Гортензия внушала своему сыну, что второй и совершенно бесспорный претендент — он.

Внушение — великая вещь; из заядлого труса оно может сделать героя, из Альдонсы{27} — Дульцинею, а принц Луи-Наполеон был от природы больших способностей. Ему не нужно было сомневаться в том, что он — принц: он был принцем; ему не нужно было сомневаться и в том, что он Наполеон: это было его имя; ему оставалось только силой или хитростью пробиться к престолу Франции: это он и сделал целью всей своей жизни.

История народов представлялась ему в свете сказочной судьбы его дяди, которому казалось, что он все смеет и все может, и потому он сделался тем, чем хотел, — покорителем Европы.

Фееричность и блеск его карьеры, несмотря на печальные последние шесть лет его жизни, буквально ослепляли Луи. Ничего, кроме этого, не видел он ни позади, ни впереди истории. История же прельщала его только своим драматизмом, шумихой войн, сильными жестами. Как и дядя его, он обучался артиллерии, как и дядя его, он верил в свою звезду.

И если отец его в его годы писал сонеты, если даже его идеал — дядя Наполеон I — написал пьесу «Граф Эссекс», то он, возвратясь из Италии после подавления восстания, в котором участвовал вместе с братом, написал книжку «Политические мечтания» и продолжал заниматься артиллерией в Туне в Бернском кантоне.

Брата он потерял: тот умер от какой-то болезни, которой не переболел в детстве. Теперь исключительно на нем одном сосредоточились смутные, но тем не менее сильные надежды Гортензии.

Июльская революция в Париже изгнала Бурбонов; престол перешел к Орлеану, Луи-Филиппу. С английскими паспортами для себя и сына Гортензия отважилась явиться в Париж, повидаться с новым королем.

Тот принял ее ласково, но попросил все-таки скрывать свой приезд с сыном.

Однако Гортензия отнюдь не хотела делать из этого тайны. Она устраивала совершенно открыто свои денежные дела, показывала теперь уже взрослому сыну все то великолепие, которое он видел только в детстве и которое «по праву», в чем она не переставала убеждать Луи, должно было принадлежать ему, а принадлежало Орлеанам. Наконец, ей предложили выехать из Франции.

Между тем началась революция в Польше, и горячая голова Гортензии переполнилась мечтаниями о польском троне, который пока мог бы занять ее сын. Но революция в Польше была раздавлена войсками Паскевича, Варшава взята.

Временно можно бы было успокоиться двум «политическим мечтателям» — матери и сыну. Но вот неожиданно умирает в Вене болезненный сын Наполеона, герцог Рейхштадтский, и для Гортензии стало как нельзя более ясно, что теперь единственный претендент на престол Франции ее сын.

Но к престолу нужно было идти уверенными шагами, и беспокойная мысль Луи стала усиленно работать над планом военного переворота. Он хорошо изучил истории всех вообще переворотов и отлично понимал, что стоило ему только овладеть Парижем, и он овладел бы всей Францией. Однако пробраться в Париж не представлялось возможным: там его хорошо за последний приезд рассмотрела полиция. Был выбран большой город в Эльзасе — Страсбург, был разработан план военного восстания. Гортензия сначала испугалась такой затеи сына, но ведь она так же верила в его счастливую звезду, как и он сам. Она согласилась, наконец, с его планом, тем более что время шло, она старела, Луи шел уже двадцать восьмой год.

А между тем единственным человеком, на кого мог рассчитывать Луи, был полковник артиллерии Водре, который только своих подчиненных мог убедить в том, что в Париже произошла революция, что Луи-Филипп свергнут с престола, а нового императора, племянника великого Наполеона, они скоро увидят в Страсбурге и в артиллерийской казарме.

И принц Луи-Наполеон действительно явился, в сером сюртуке и

треугольной шляпе — историческом костюме своего дяди, несколько загримированный под Наполеона I для полноты иллюзии и с теми немногими орденами на сюртуке, которые обычно сопутствовали изображениям корсиканца.

Принц Луи вошел в казармы не один, конечно, а со «штабом» из нескольких лиц. Водре принял его с подобающей торжественностью и тут же послал нескольких из своих подчиненных арестовать начальника дивизии и префекта.

Торжественно проследовал Луи в соседние казармы 46-го полка, но здесь провалилась вся затея. Даже простых солдат, ничего не слышавших о революции в Париже, оказалось не так просто убедить, что перед ними новый король Франции, а вбежавший командир полка немедленно приказал арестовать и Луи-Наполеона и его «штаб» и отправить всех вместе с Водре в Париж.

Вместо трона Луи попал в тюрьму в ожидании суда. Это так испугало его мать, что она ринулась через все рогатки в Париж сама, чтобы умолить короля помиловать ее сына. Но королю и без того вся эта затея бонапартистов показалась более смешной, чем опасной. Он решил совсем не судить Луи, чтобы не поднимать излишнего шума около бонапартистской идеи, а отправить его как можно дальше от Франции.

Остановились на Соединенных Штатах, и король не только выпустил из тюрьмы претендента на свой престол, но еще и приказал выдать ему десять тысяч франков на обзаведение в Америке, куда он был отвезен на одном из военных судов. Даже полковник Водре и другие участники неудавшегося «переворота» не понесли никакого наказания.

Все-таки на Гортензии отразилась тяжело эта неудача с сыном и насильственная разлука с ним. Она заболела и уже не могла оправиться. Она умерла осенью 1837 года, но за месяц до ее смерти в замок Арненберг приехал к ней бежавший из Америки Луи. Похоронив мать, он остался один со своей мечтой о короне. Однако французское правительство обеспокоилось его приездом, и целый корпус войск придвинут был к швейцарской границе, чтобы силой поддержать требование немедленно удалить его из Швейцарии.

Швейцарцы начали готовиться к войне с Францией; категоричность требования им не понравилась.

Хотя такая готовность защищать его вооруженной силой как нельзя более пришлась по душе принцу Луи, но он все-таки решил избавить Швейцарию от явного разгрома и тайком выехал в Англию.

Великое искусство нравиться, унаследованное от матери, принц Луи пустился широко применять в лондонских высших кругах и в среде крупных политических деятелей.

Он видел, что отдых англичан — это только замена одного занятия другим; поэтому и он был чрезвычайно деятелен в отыскании все новых и новых знакомств с людьми, которые со временем могли бы быть ему полезны. Он стремился быть популярным, он заботился всячески о том, чтобы о нем говорили.

Когда в Лондоне появился командированный Николаем дельный и знающий военный инженер генерал-адъютант Шильдер, принц Луи добился знакомства и с ним, и не было тех льстивых комплиментов, которых не расточал бы он по адресу русского царя. Но все это говорилось им только затем, чтобы Шильдер, по приезде в Петербург, доложил Николаю, что одного слова такого могущественного монарха достаточно было бы для него, племянника Наполеона, чтобы он, принц Луи, сверг ничтожного Людовика-Филиппа с французского престола.

И Шильдер действительно доложил об этом Николаю, но, как признавался он сам потом, гораздо лучше бы сделал, если бы не докладывал, — так раздражило это царя.

Между тем в 1840 году, как известно, французское правительство решило перевезти с острова св. Елены прах Наполеона во Францию. Для человека, только и жившего наполеоновской легендой, с детства воспитанного в культе Наполеона, это решение прозвучало как приказ тени великого полководца: «Действуй!»

Из Лондона он поддерживал денежно две бонапартистские газеты: и ; эти газеты всячески старались поддерживать во Франции настроения в пользу бонапартистских идей. Он написал и выпустил книгу «Наполеоновские идеи», в которой стремился доказать, что Наполеон I был не кто иной, как «исполнитель заветов революции, ускоривший наступление царства свободы»; что весь он был поглощен одной

заботой установления демократии, а войны его имели только одну цель: водворить мир.

Нетрудно убедить человека, который только и ждет, чтобы его убедили. Немногочисленным сторонникам принца Луи стоило только сказать ему, что настроение умов по ту сторону Ламанша всецело в его пользу, как он появился во Франции, только уже не в Страсбурге, а в Булони.

Увы, булонский путч был так же неудачен, как страсбургский! И принц Луи и его сторонники, кроме двух убитых, были захвачены, но теперь претенденту на французский престол пришлось уже выступить перед судом.

На суде он держал себя с достоинством и презрительно относился к судьям. Оскорбленные им судьи приговорили его к пожизненному заключению в крепости Гам.

Казалось бы, на этом и должна была закончиться карьера неудачного искателя престола Франции: сиди в крепости и жди смертного часа.

Но принц Луи обратил свою камеру в кабинет писателя по политическим и военным вопросам.

Он прочитал в своем заключении множество книг и написал книгу об Англии, книгу «Об уничтожении пауперизма», отнюдь не лишённую интереса для специалистов, книгу «О прошедшем и будущем артиллерии». Он написал ценную статью о возможности прорытия канала на Панамском перешейке для соединения Атлантического океана с Тихим, на много лет предупредив практическое разрешение этого вопроса; писал статьи о сахарной промышленности; писал по ряду вопросов политических и в то же время вел обширнейшую корреспонденцию со своими сторонниками, пользуясь сочувствием, которое возбуждал теперь во многих своей судьбой.

Высланный за прахом Наполеона корабль бросал якорь в бухте острова св. Елены, когда принца Луи водворяли на всю жизнь в крепость Гам. Между тем прах Наполеона был привезен, и «Франция среди рукоплесканий и кликов радостных», как сказал Лермонтов, его встретила. Принц Луи ожидал даже, что эта всеобщая радость заставит правительство отворить дверь его камеры.

Ожидания оказались напрасными, однако сочувствие в народе к нему,

родному племяннику великого полководца и императора Франции, очень выросло за эти дни торжества. Партия бонапартистов весьма значительно увеличилась численно. И хотя принцу Луи пришлось пробыть в заключении около шести лет, все же бонапартистам удалось помочь ему освободиться, доставив ему в камеру костюм рабочего, в котором он и вышел из тюрьмы, неся на плече доску и прикрываясь ею от тюремного начальства на дворе и от часовых в воротах.

Через два дня он был уже снова по ту сторону Ламанша, а через два года избран был президентом Французской республики при помощи плебисцита: из семи с лишним миллионов голосов за него было подано около пяти с половиной миллионов.

Короля Луи-Филиппа сбросил, конечно, не он, а мощный взрыв февральской революции 48 года. Она длилась в Париже, как известно, всего два дня — 23 и 24 февраля, вылившись в восстание республиканской партии против монархии и начавшись, как всегда, баррикадами в рабочих кварталах.

Испуганный Луи-Филипп отказался от престола в пользу своего внука, графа Парижского, но сделавшийся королем утром 24 февраля граф Парижский перестал уже считаться им к вечеру того же дня, так как образовавшееся из членов разных партий правительство издало декрет: «Республика учреждается как правительство Франции». И так же точно, как и в июле 30 года, революция в Париже не вызвала ни малейших протестов нигде во всей Франции.

Политический деятель того времени Жюль Симон, который отказался присягнуть на верность Людовику-Наполеону, так говорит об этом перевороте: «Агитация была устроена либералами в пользу республики, которой они боялись: а в последнюю минуту подача голосов была организована республиканцами в пользу социализма, который внушал им ужас».

Высшая власть сосредоточилась в руках Временного правительства, в которое вошли члены двух партий: республиканцев «парламентских» и республиканцев «демократических». Каждая из этих двух партий понимала республику по-своему: первая, — она называлась «национальной», — не шла дальше всеобщего избирательного права и трехцветного знамени; вторая, — она называлась партией «реформы»,

— требовала социальной революции, немедленного улучшения положения рабочих и признала красное знамя.

Борьба между этими двумя партиями во Временном правительстве началась с первых же дней. Представители социальной партии преобладали в правительстве. Рабочие, вооруженные революцией, не сдавали оружия. Когда правительство издало декрет, чтобы все граждане имели право войти в национальную гвардию, рабочие вступили в легионы, и национальных гвардейцев оказалось в Париже до двухсот тысяч к середине марта. Возникли рабочие клубы, в которых коммунисты пропагандировали социальную революцию.

Чтобы ввести в жизнь формулу социалистов «право на труд», член правительства социалист Луи Блан составил декрет: «Правительство французской республики обязуется гарантировать рабочему существование посредством труда; оно обязуется обеспечить работу каждому гражданину». Вслед за этим декретом последовал декрет об устройстве «национальных мастерских».

Однако осуществить это не удалось, между тем число безработных росло с каждым днем: к маю их было уже до ста тысяч в Париже. Им давали земляные работы на Марсовом поле с платой по два франка в день, потом оставили совсем без работы.

Избрано было всеобщей подачей голосов Учредительное собрание из девятисот представителей, в котором большинство стояло за политику буржуазной части Временного правительства, то есть хотело демократической республики и высказывалось против социального переворота. Социалисты пытались силой установить правительство социальных реформ. Подавая петицию в пользу Польши, они объявили собрание распущенным и провозгласили вновь Временное правительство, составленное исключительно из вождей социалистической партии, как то: Бланки, Барбес, Луи Блан, Кабе, Прудон, Ледрю-Роллен и другие. Но национальная гвардия вытеснила их из собрания.

Тогда поднялось восстание рабочих, и началась гражданская война.

Это было в июне. Собрание поручило генералу Кавеньяку подавить восстание рабочих, и оно было подавлено с большой жестокостью. Бои на улицах были очень кровопролитны. Пленные расстреливались.

Социалистическая партия перестала существовать.

Тогда Учредительное собрание выработало «конституцию 1848 года» сообразно с политическими взглядами большинства членов: права личности были провозглашены, социальные же реформы только обещаны. Основами республики были признаны: семья, собственность, общественный порядок. Наконец, установлены были две власти, обе исходящие от французского народа: законодательная, передаваемая народом собранию из семисот пятидесяти представителей, избранных всеобщей подачей голосов, и исполнительная, вручаемая народом президенту республики, которому предоставлялось право назначать министров. Президент избирался по этой конституции на четыре года (как в Соединенных Штатах Америки).

Таким образом, власть над Францией должна была перейти в руки того, кто будет выбран президентом.

Начиная с февральских дней, боролись за власть только две партии; они и выставили своих кандидатов в президенты: одна — бравого усмирителя восстания рабочих генерала Кавеньяка, другая — Ледрю-Роллена. Партию бонапартистов старались даже не замечать по ее малочисленности, но она в короткое время развила энергичнейшую деятельность.

Принц Луи-Наполеон постарался забыть старый политический лозунг: «Кто победит Париж, тот победит и Францию»; точнее — он перевернул его. Получилось: «Кто победит Францию, тот победит и Париж». Он постарался победить Францию провинциальную, крестьян французских, а не парижских рабочих, крестьян, отнюдь не разбиравшихся в программах политических партий, но хорошо знавших, кто был Наполеон.

Делал ли при этом что-нибудь он лично? Очень немного: только руководил издали своими приверженцами, наиболее энергичным из которых был его побочный брат, граф Морни. Правда, он немедленно явился в Париж из Англии, чуть только дошла до него весть о революции и свержении Людовика-Филиппа; но Временное правительство попросило его удалиться из пределов Франции. Помня шестилетнее заключение в крепости Гам, он не заставил себя

упрашивать и поспешил уехать. Он вернулся только тогда, когда всеобщей подачей голосов был избран в Национальное собрание в нескольких департаментах.

Временное правительство очень встревожилось этим и хотело издать приказ об аресте его, ссылаясь на закон 1816 года, по которому все члены фамилии Бонапартов изгонялись из пределов Франции. Однако возобладало мнение, что «закон, направленный против одного только человека, недостойн великого собрания». Тогда сложивший было уже свои полномочия и приготовившийся к новому бегству Луи-Наполеон остался скромно выжидать дальнейших событий.

Выбранный президентом таким громадным большинством голосов (за Кавеньяка было подано миллион четыреста тысяч голосов, за Ледрю-Роллена триста семьдесят тысяч), Луи-Наполеон поднял голову.

Он почувствовал, что наконец-то мечта его жизни исполнилась: хотя и не император еще, он стал уже хозяином Франции. Ему было в то время сорок лет.

III

Никто не был более изумлен таким оборотом дела Луи-Наполеона, как император Николай, для которого этот принц все продолжал оставаться только незаконным племянником узурпатора дяди и пылким, хотя и неудачным деятелем итальянской революции 30 года.

Но с каждым новым донесением своего посланника во Франции, с каждым новым листом иностранных газет, которые им внимательно читались, раз дело шло об его исконном враге — революции, Николай изумлялся еще более, только теперь в обратную сторону. Он вполне искренне и с большим сочувствием говорил теперь о президенте Луи-Наполеоне: «Молодец!» — узнавая, как он расправляется с революционерами во Франции, хотя и поклялся, вступив во власть, «быть верным демократической республике и защищать конституцию».

Хотя Учредительное собрание и продолжало заседать по-прежнему, но министры, избранные президентом из представителей монархических партий, уже посылали префектам в провинции приказы рубить так называемые «деревья свободы», запрещая всякие политические

собрания, и французская армия, вопреки решению собрания, получила приказ атаковать Рим.

Годы президентства Луи-Наполеона прошли в непрерывной борьбе его с республиканцами и в подготовке Франции к провозглашению Второй империи.

Уже в мае 49 года в Законодательное собрание из семисот пятидесяти членов его было избрано пятьсот монархистов. Это большинство в полном согласии с президентом и министрами давило республиканскую партию, отнимая у нее средства действия, как то: газеты, школы, всеобщую подачу голосов, право составлять политические общества.

Крупнейший из руководителей партии республиканцев — Ледрю-Роллен вынужден был эмигрировать в Лондон.

Постепенно и министров-орлеанистов президент заменил бонапартистами. Во всей Франции появились католические гимназии и начальные школы, а школы для девочек были поручены монахиням.

Президент остался верен своему правилу опираться на крестьян. Он часто ездил по провинции и всюду говорил с большим искусством речи, проводя в них свои «наполеоновские идеи». Его агенты в толпе слушателей кричали: «Да здравствует Наполеон!..» Но с течением времени начали уже кричать как бы в соловьином экстазе: «Да здравствует император!»

Луи-Наполеон отнюдь не делал вида, что его смущают подобные проявления восторга толпы. Он не запрещал таких криков. Напротив, когда после смотра армии в Сатори в октябре 50 года кавалерия кричала: «Да здравствует Наполеон!», а пехота по приказу командовавшего ею генерала вздумала молчать, военный министр уволил этого генерала в отставку.

Луи-Наполеон все гуще окружал себя своими сторонниками, готовыми на самые энергичные меры для восстановления империи, и на первом месте среди них стоял его брат, граф Морми, из которого вышел человек недюжинных способностей, биржевой спекулянт, организатор многих торговых и промышленных обществ, вращавшийся в среде практических людей, ясно видевший цели, к которым надо было идти, и средства, благодаря которым их можно было достигнуть.

Но он был только делец; среди военных же наиболее ревностным и способным сторонником наполеоновской идеи был полковник Флери, неспособный отступить ни перед какой опасностью. Он отыскал в Африке Сент-Арно, и этот генерал был приглашен в Париж и сделан военным министром. А когда стал военным министром, то немедленно приказал убрать из всех казарм декрет 48 года, который давал Учредительному собранию права требовать вооруженную силу.

Префектом полиции был назначен сторонник принца Луи весьма исполнительный Мопа; к заговору примкнули и начальник парижского гарнизона генерал Маньян, и генерал Авостин — командир национальной гвардии, и много других видных представителей вооруженных сил Парижа: опыт неудачных путчей в Страсбурге и Булони отлично был учтен Луи-Наполеоном, и теперь он сделал все, чтобы бить наверняка.

В свою очередь и республиканцы организовали тайные общества для борьбы с президентом, который не имел желаний сложить свою власть к концу четырехлетия, на какое был избран, но эти общества не только не были объединены одним руководством, но даже враждовали друг с другом. Между ними выделялись: партия бланкистов, социалистическая партия Луи Блана и «Союз коммунистов».

Агенты правительства обвиняли эти общества в том, что они имеют склады оружия и готовят нападение на префектуры, а президент, открывая собрания по подготовке к выборам, говорил о «демагогическом заговоре, который организуется во Франции и в Европе».

Луи-Наполеон, убедившись в том, что все военные силы Парижа в его руках и ему будут послушны, решился не ожидать конца своих полномочий как президента и произвел переворот. 2 декабря 1851 года он издал декрет, которым Законодательное собрание распускалось и французский народ, в силу всеобщего избирательного права, призывался к избирательным урнам. Исполнительная власть восстала против власти законодательной.

Чтобы обеспечить себе успех без сопротивления, Луи-Наполеон приказал арестовать ночью главных вождей партий.

Однако свыше двухсот членов Законодательного собрания все-таки

нашли возможность собраться и, что было вполне согласно с конституцией, постановили низложить президента. Солдаты арестовали депутатов собрания и отвели в тюрьму.

Большими отрядами проходя по улицам и бульварам, солдаты на другой день стреляли залпами в безоружную толпу, даже в тех, кто выскакивал из квартир верхних этажей на балконы, чтобы посмотреть, что за стрельба на улицах.

В кварталах Сент-Антуан и Сен-Мартен, рабочих кварталах Парижа, не замедлили появиться баррикады, но для борьбы с целым парижским гарнизоном силы были слишком неравны.

Участником борьбы республиканцев с президентом в эти дни 2–4 декабря, депутатом собрания, Виктором Гюго, бежавшим из Франции, была написана в эмиграции книга «История одного преступления», полная потрясающих подробностей разгрома Парижа «маленьким Наполеоном», как он назвал президента в своем знаменитом памфлете.

По документам, найденным в Тюильри в 1870 году, арестованных в связи с переворотом 2 декабря, было свыше двадцати шести тысяч, из которых пятнадцать тысяч приговорены были к ссылке (девять с половиной тысяч — в Алжир, около двухсот пятидесяти — в Кайенну). Так сделан был Луи-Наполеоном решительный шаг к трону. подача голосов назначена была на 20 декабря, и семь с половиной миллионов высказалось за то, что «народ желает сохранения власти Людовика-Наполеона Бонапарта и дает ему полномочия на составление конституции на основаниях, изложенных им 2 декабря».

К этому можно было бы добавить: «Притом изложенных гораздо убедительнее пулями и штыками, чем словами».

Самый день 2 декабря был выбран принцем Луи потому, что в этот день совершена была коронация Наполеона I и в этот же день произошло знаменитое Аустерлицкое сражение, в котором Наполеон разбил соединенные русско-австрийские силы и обратил в бегство императоров Александра и Франца.

Нужно было только получить полномочия на составление новой конституции, составить же ее не представляло труда. И она была

составлена так, что президент, избранный теперь уже на десять лет, а не на четыре года, становится самодержавным властелином Франции. Он был ответствен теперь только перед народом, объявлявшим свою волю плебисцитом, то есть был безответствен. Он имел право самостоятельно заключать договоры с другими державами, объявлять войну и осадное положение, назначать на все должности и издавать законы.

Все военные и гражданские чины должны были приносить ему присягу на верность как монарху.

Дальше этого идти уже было некуда. Оставалось только вместо маловразумительного слова «президент» поставить пышное слово «император» и вместо «десяти лет» поставить знак бесконечности, имея в виду еще и династические интересы.

Такие результаты декабрьского переворота, конечно, беспокоили не только революционные круги, но и всех вообще государственных деятелей Европы и особенно монархов. Больше всех возмущен был этим Николай I.

Пока Луи-Наполеон подавлял революцию во Франции, он был, конечно, и приемлем и даже более чем на месте в глазах Николая: он готов был думать, что даже и Бенкендорф и Клейнмихель при таких обстоятельствах не могли бы действовать энергичнее и умнее.

Но стремиться стать императором или даже королем... Это, по понятиям Николая, было бы во всяком случае оскорбительным для монархической власти, которая должна быть прежде всего наследственной.

— Пусть он будет всем, чем хочет, этот Людовик-Наполеон, — говорил он возмущенно, — хотя бы великим муфтием, если ему это нравится, но что касается до императорского или королевского титула, то я не думаю, что он будет настолько неосторожен, чтобы его добиваться.

Между тем, верный своим наследственным способностям нравиться, сам Людовик-Наполеон уже через месяц после переворота обратился к Николаю с письмом, похожим на докладную записку, которая составлена с таким расчетом, чтобы быть непременно одобренной начальством.

Он всячески выпячивал в этом письме необходимость сделать то, что

он сделал, так как «деятельность партий угрожала Франции анархией, которая вскоре могла бы обнять всю Европу...»

Если «всю Европу», то значит и Россию; недвусмысленно принц Луи давал понять Николаю, что он заботился и о его благополучии и покое, совершая свой кровавый переворот; что у него, президента Франции, с ним, императором России, вполне общие интересы, почему он и действовал «по-русски».

Свое письмо он заканчивал так: «Правительство будет особенно заботиться о поддержании внешнего мира и о более близких отношениях к кабинету вашего величества».

Конечно, Николай не замедлил ответить, что очень доволен энергичными действиями президента на пользу порядка в Европе, поздравил его с «доверием» к нему Франции, избравшей его снова на десять лет, уверил его, что всегда встретит он в нем «полную готовность соединиться для совместной защиты священного дела сохранения общественного порядка, спокойствия Европы, независимости и территориальной целостности ее государств и уважения существующих трактатов».

Трактаты же были всякие; между ними был и Венский 1815 года, которым раз и навсегда воспрещалось представителям дома Бонапартов занимать престол Франции.

IV

Однако престол Франции был занят и именно Бонапартом, президент ли он был, или король, или император: Венский трактат был нарушен, и Николай не мог этого не понимать; но он ни за что не хотел признать этого открыто. Просто он был так воспитан, что считал неприличным замечать чужое неприличие.

Со всех сторон Европы, из столиц, где были русские посольства, шли к нему тревожные депеши дипломатов школы канцлера Нессельроде.

Барон Бруннов, русский посланник в Англии, доносил, что в Лондоне все очень встревожены декабрьским переворотом, что там боятся войны, которую может начать новый полновластный самодержец Франции, начиненный, как бомба, «наполеоновскими идеями», что трехсоттысячная армия французов будто бы уже начинает бряцать

оружием, чтобы придать больше блеска ореолу племянника воинственного дяди.

Николай на этом донесении сделал такую пометку: «Я уверен, что если Франция начнет войну, то первые ее удары будут направлены не против Германии, а скорее против Англии, так как там это более вероятно, чем возможно».

Ему так хотелось, чтобы скорее развалилось «сердечное соглашение», что он уже принимал желаемое за необходимое, тем более что, по уверениям того же Бруннова, Англия была совершенно неспособна к сухопутной войне, — она не имела постоянных войск, а с кем же и воевать, как не с соседом, не имеющим большой армии? Именно только так и привык вести войны сам Николай с персами, с кавказскими горцами, с турками в 28 году.

Может быть, никогда за все сорок лет с падения Наполеона I дипломаты не работали так усиленно, как в 1852 году, стараясь как-нибудь выйти из того запутанного положения, в какое поставил их «Наполеон маленький».

Что он стремился к провозглашению во Франции Второй империи — это было очевидно для всех; что вслед за этим неизбежно последует отнюдь не восстание в Париже, а война в Европе, — в этом не сомневались дипломаты, постигшие уже со свойственной им хитростью таинственный характер французского президента.

И если император Николай с легким сердцем пророчил, что французская армия замарширует на северо-запад, то политики Лондона заранее начали готовить все доводы к тому, чтобы набухающую грозой электричеством тучу направить из французских гарнизонов на юго-восток.

Дипломаты не ссорятся с теми, кого опасаются; напротив, перед ними они рассыпаются в любезностях. Поэтому барон Бруннов предупреждал Николая, что если Людовик-Наполеон объявит себя императором, то Англия первая признает за ним этот титул. Австрийский министр иностранных дел, князь Шварценберг, тоже советовал русскому канцлеру признать империю, ссылаясь и на то, что «Людовик-Наполеон оказался лучшим и единственным охранителем порядка во Франции».

Пруссия заявила Николаю, что готова «действовать в полном согласии с Россией». Николай же был совершенно непреклонен и поручил русскому послу в Париже Киселеву отклонить принца Луи от пагубной мысли об императорском титуле, сам же лично внушал это французскому послу при своем дворе Капельбахаку.

Переговоры дипломатов все шли. Кипы бумаг, исписанных по этому вопросу, грозили обратиться в горы.

В мае 52 года Николай был в Берлине. К нему для переговоров все о том же «возможном изменении формы правления во Франции» был командирован президентом барон Дантес-Геккерен, убийца Пушкина, забывший уже свою былую верность Бурбонам и служивший Бонапарту. Николай принял его как бывшего офицера своей гвардии.

Барон Геккерен изложил надежды президента на поддержку императора России в его домогательствах, причем Луи-Наполеон обещал даже разоружение, чтобы уверить все державы в своем миролюбии.

Николай возразил, что, по его мнению, положение принца и без императорского титула превосходно; окончательно же высказаться по этому вопросу он обещал тогда, когда принц Луи действительно разоружится и будет соблюдать Венский трактат в том пункте, который касается наследственности власти.

Дантес поспешил заверить Николая, что Луи-Наполеон и не собирается передавать власть кому-нибудь из своих родственников, так как всех их он одинаково презирает; детей же у него, пока еще холостото, нет.

Между тем Николай видался не только с королем прусским, но и с юным Францем-Иосифом, чтобы укрепить нити «Союза». В том, что Людовику-Наполеону надо решительно отказать в праве передачи власти кому-либо из Бонапартов, все три монарха были вполне согласны.

Англичане же оказались гораздо более ветрены: они не видели особенной важности в этом вопросе, а престарелый фельдмаршал Веллингтон, когда к нему обратились за мнением, сказал ворчливо:

— Франция — и престолонаследие! Разве эти два понятия были там связаны в текущем веке?.. Наполеон I ушел в изгнание. Карла X

выгнали, Людовика-Филиппа выгнали... Почему же все думают, что не выгонят этого нового Бонапарта? И почему так много говорят о престолонаследии, когда нет никаких вероятий, чтобы оно вообще состоялось когда-нибудь?..

Старик оказался прав, как известно; Николай же все старался убедить Луи-Наполеона оставаться по-прежнему президентом и не объявлять Францию империей. Он весь был во власти «исторических фактов, которые не могут быть стерты словами», как писал он принцу.

Когда же к концу 52 года стало известно, что, несмотря ни на какие советы Николая, принц Луи твердо и бесповоротно решил принять титул императора, перья дипломатов заскрипели с удвоенной силой, чтобы решить, как должны себя вести при этом посланники России, Австрии, Англии, Пруссии; как должны будут писать к новоявленному императору монархи этих держав в частных письмах: («мой брат»), как они писали друг другу, или только («мой дорогой друг»), и можно ли позволить Луи-Наполеону наименовать себя «Наполеон III».

Последнее особенно возмущало Николая, который упорен был в своем взгляде на Наполеона Бонапарта как на обыкновенного узурпатора престола, лишеного всяких династических прав по Венскому трактату. Если же признать, что на троне Франции сидит Наполеон III, то, значит, нужно порвать Венский трактат и признать династию Бонапартов равноправной с династией Бурбонов. Кроме того, если счесть за Наполеона II давно умершего в Вене юного герцога Рейхштадтского, то где же и когда он царствовал, этот герцог?

Цифра доводила Николая до бешенства. Относительно поведения посланников держав «Священного союза» он решил, что они могут явиться в Тюильри по приглашению президента, но должны будут тотчас, как только провозглашена будет империя, сложить свои полномочия. Обращение же монархов «Союза» к императору Наполеону III должно быть отнюдь не ; а только: «Его величеству, императору французов».

Пока шла вся эта сложнейшая и тончайшая по своим мотивам переписка, Людовик-Наполеон, окончательно подготовивший при помощи многочисленных своих агентов убедительнейшие результаты плебисцита, приступил к осуществлению мечты своей юности, мечты

своей матери, мечты, взлелеянной в тихом замке Арненберг, в кантоне Тургау.

На всенародное голосование было поставлено предложение сената о «восстановлении императорского достоинства в пользу Людовика-Наполеона и его потомства». Это было 21 ноября, а 1 декабря объявлены уже были результаты голосования; за предложение высказалось около восьми миллионов, против — около двухсот пятидесяти тысяч и воздержалось от подачи голосов несколько более двух миллионов человек.

В ночь с 1 на 2 декабря, как только окончился подсчет голосов, сенаторы и другие высшие чиновники торжественно, в каретах, с факелами впереди, двинулись к дворцу президента, «волей народа» ставшего императором. Новый император произнес пышную речь. Он даже призывал к сотрудничеству «независимых людей, которые могли бы помочь ему своими советами и ввести власть в надлежащие границы, если бы она их когда-нибудь перешагнула».

Так 2 декабря 1852 года, в день годовщины знаменательнейших событий: коронации Наполеона I, битвы трех императоров при Аустерлице и кровавого переворота, совершенного им самим, — принц Луи-Наполеон стал императором Наполеоном III.

Он не забыл порадовать мать, которая не могла торжествовать теперь с ним вместе: на ее могиле в Рели, где она покоилась рядом с его бабушкой Жозефиной, он приказал поставить заранее заготовленный великолепный памятник с надписью «Королеве Гортензии ее сын Наполеон III».

Первой державой, которая признала его сразу и без всяких оговорок, была, как и ожидали, Англия. На полученном известии об этом Николай написал: «Это похоже на то, как дети говорят, когда боятся: «Дядюшка, боюсь!..» Любопытно, как наивно со стороны английских министров сознание страха. Это печально!»

Да, это оказалось действительно печально для России: «сердечное соглашение» не только не расколосось, но даже как будто еще более скрепилось спасительным страхом английских министров; но насколько именно печально, этого не определял и едва ли мог это определить слишком самонадеянный Николай.

Перед ним только все отчетливее начал вырисовываться облик загадочного сорокачетырехлетнего человека, которого причудливая судьба из революционера, каким он проявил себя в Италии, сделала палачом революционеров во Франции, из узника крепости Гам — самодержавным, как и он, императором, причем ни он сам, ни вся Европа ничего не сделали, чтобы воспрепятствовать этому вооруженной силой.

Толстый Людовик-Филипп при первой же вспышке февральской революции трусливо бросил трон, на который втащили его крупнейшие банкиры Франции — Казимир Перье, Лаффит и другие; этот, ясно было, отнюдь не уступит без сильнейшей борьбы трона, к которому стремился так долго, так упорно и которого добился, наконец, не благодаря банкирам, а «волей нации».

Николай видел Луи-Наполеона только в 1814 году, когда тому было шесть лет, и смутно помнил его; но теперь, после его «избрания», он пристально вглядывался в портрет его, на котором новый император был изображен в военном мундире с эполетами, с одинокой звездой на левой стороне груди и с лентой через плечо... Его открытый, широкий, лысеющий лоб, его тяжелый взгляд человека, верящего в себя и не верящего никому, кроме себя, его горбатый орлиный нос, закрученные в две острые шпаги усы и узкая, длинная эспаньолка, уже узаконенная во французской армии (высший признак самодержавности монарха!), — все это внимательно рассматривалось Николаем.

Своего соперника, и соперника сильного, потому что изворотлив и хитер, — он чувствовал в нем; но он знал в то же время, что их разделяют слишком большие пространства немецких земель. Он думал, что война между ними если и возможна, то только в форме чисто дипломатической, себя же самого он считал столь же непревзойденным дипломатом, сколь крупнейший из его генералов — «отец-командир» князь Паскевич — считал себя непревзойденным стратегом и шахматистом.

Глава третья. Третий самодержец — его величество капитал

I

Англия торговала со всем миром и колоссально богатела. Со времен войны с Наполеоном I ей не приходилось воевать в Европе, а колониальные войны, какие она вела, были незначительны по размерам.

Англией, как это повелось издавна, правила родовая аристократия, правда с небольшою примесью «манчестерцев», то есть представителей торгово-промышленного капитала.

В Англии офицерские места продавались — явление чрезвычайно странное в XIX веке; но покупали их младшие сыновья аристократических семейств, чтобы иметь возможность существовать, так как по праву майората только старшие сыновья наследовали состояния своих отцов: огромные имущества аристократии таким образом не дробились.

Английские промышленники того времени были так могучи, что, например, манчестерские фабриканты тканей говорили: «Если бы найден был доступ на другую планету и если бы оказалось, что эта планета заселена человекоподобными существами, нуждающимися в одежде, мы взяли бы в самый короткий срок одеть всех обитателей этой планеты».

Могучая промышленность искала всюду новых и новых рынков сбыта. Англия добывала железа и чугуна гораздо больше половины всего, что добывалось тогда во всей Европе.

Половина всего ввозимого в Европу хлопка шла на манчестерские фабрики; две трети механических веретен в Европе для производства льняных тканей приходилось на долю Англии.

Одних только больших торговых кораблей к началу пятидесятых годов считалось в Англии до шестнадцати тысяч — почти половина всего торгового флота Европы.

Нигде в мире не было столь мощного капитала, как в Англии, и нигде в мире не было столь вопиющей нищеты, как там.

Замена ручной работы машинами позволила фабрикантам брать на работу вместо взрослых мужчин женщин и, к стыду Англии, детей.

Владельцы угольных шахт даже пятилетних ребятишек принимали в

шахты: должность этих рабочих состояла только в том, что они отворяли двери при провозе вагонеток с углем. Этих несчастных малюток опускали в шахты с шести часов утра, и там они проводили в темноте и грязи целые дни, не смея отойти от дверей, к которым были приставлены. Каторжные работы в рудниках считались в те времена тягчайшим наказанием даже для взрослых, вполне сознательно совершавших те или иные преступления против общества, отлично зная при этом, как именно могут быть они наказаны по суду, если их преступления будут раскрыты.

Но в Англии того времени каторгой становилась жизнь детей пролетариата, едва только они открывали глаза на жизнь.

Они не видели неба, с утра до ночи несколько лет подряд работая в шахтах.

Годам к десяти они сами начинали возить по рельсам вагонетки с углем. Квершлаг шахт того времени были узки, низки, местами в них приходилось просто ползти на четвереньках, упираясь руками в вонючую грязь...

Там работали мальчики и девочки вместе, очень рано обучаясь у взрослых омерзительным ругательствам, пьянству, разврату, преступлениям... Становясь совершеннолетними, они наполняли тюрьмы.

Только в начале сороковых годов английский парламент удосужился заняться вопросом о детском труде в шахтах и запретил его. Но этим он поставил в безвыходное положение родителей, ибо многим семьям углекопов даже и такая явно каторжная работа детей казалась все-таки лучше голодной смерти, близость которой особенно грозно ощущалась во время торговых кризисов, заставлявших промышленников и фабрикантов прекращать работы.

Если манчестерские фабриканты готовы были одевать целые планеты, только бы нашелся к ним доступ, то манчестерским ткачам во время подобных кризисов вовсе не во что было одеваться и нечего есть.

В самом Лондоне, в котором было тогда два с половиной миллиона жителей, — в то время как во всей Англии только семнадцать миллионов, — на рынке между кварталами Уайт-Чепл и Бетнал-Грин еженедельно по вторникам родители приводили детей в возрасте от

семи до десяти лет и предлагали их первому попавшемуся хозяину внаймы на какую угодно работу по пятнадцати часов в день.

Это был крикливый торг, так как родители с ругательствами вырывали друг у друга из рук хозяев, приходивших на рынок. Они всячески выхваляли своих детей и ругали чужих; они раздевали их торопливыми руками, чтобы воочию показать, как хорошо они сложены, какие они сильные для своих десяти лет (и семилетние шли при этом за десятилетних).

И ведь это совсем не был невольничий рынок; это было только узаконенное обычаем место, где лондонская беднота избавлялась от голодных ртов.

А между тем кварталы Уайт-Чепл, Бетнал-Грин, Сент-Джайлс, населенные ужасающей беднотою, находились рядом с Сити, где высились роскошные особняки надменных аристократов, миллионеров-банкиров.

Кварталы бедняков в те годы казались совсем покинутыми всякою вообще администрациею. Узкие улицы здесь не мостились; площади представляли собой гнилые болота; домишки были нередко сколочены просто из ящичных досок, и в этих домишках целое семейство имело нередко только одну постель.

Если в Сити умирала ежегодно одна женщина на шестьдесят, то в Уайт-Чепле — одна на двадцать восемь. Если там все было рассчитано на то, чтобы продлить человеческую жизнь, то здесь все соединялось, чтобы сделать ее как можно короче.

Нечего и говорить о том, что кварталы бедноты кишели проститутками, которые никому из мужчин не давали проходу, чуть только темнело и зажигались уличные фонари. На улицы выходил и плотными толпами двигался все тот же голод.

Рабочие боролись, как могли.

Они объединялись в союзы отдельных ремесел. Они и раньше составляли синдикаты, чтобы не продешевить, отдавая свой труд, но к Июльской революции во Франции Англия уже имела с легкой руки Роберта Оуэна кооперативные общества, депутаты которых съезжались на конгрессы. Тогда же пущено было в обращение и самое слово «социализм».

В начале пятидесятых годов был основан тредюнион — союз, объединивший рабочих всех видов гуда. Целью этого объединения прежде всего была организация общей стачки, чтобы через парламент добиться закона о восьмичасовом рабочем дне.

Крупные промышленники и политические деятели переживали дни ужаса и паники. На объединение рабочих они ответили объединением заводчиков и фабрикантов. Рабочего не принимали на работу, если он не мог представить удостоверения, что не принадлежит ни к какому рабочему союзу.

Так началась организованная война между английскими промышленниками и рабочими. В ответ на требование последних о повышении платы и восьмичасовом рабочем дне первые закрывали фабрики и заводы.

II

Революционный 1830 год сделал Францию такую же буржуазно-парламентарной страной, как и Англия; кроме того, в Англии в то время вступили в министерство лиги представители либеральной партии; это сблизило Англию с Францией, оторвав ее в то же время от союза с тремя большими государствами Восточной Европы: Россией, Австрией и Пруссией.

Так Европа распалась на две части: в первой — короли только царствовали, но не управляли, предоставив это трудное дело крупной буржуазии; во второй — абсолютные монархи остались на страже трактатов 1815 года. В ней руководили политикой Николай I и австрийский канцлер князь Меттерних, опекавшие хотя и неограниченного, но тем не менее слабоумного императора Австрии Фердинанда, отца малолетнего Франца-Иосифа. Недалекий король Пруссии Фридрих-Вильгельм III во всех делах внешней политики ожидающе оглядывался на Николая и всегда и во всем был с ним согласен; при подавлении восстаний в Польше он снабжал армию Паскевича провиантом и не возражал против того, чтобы русские войска двинулись на Варшаву со стороны прусской границы.

Но не одни только правительства делали политику в Европе; в дело политики все заметней и ярче вмешивались революционные

организации. Они действовали через печать на общественное мнение или же непосредственно на членов правительства. Ненавидевший русских и всяких других революционеров Николай во всякий момент готов был вместе с пшеницей своих помещиков экспортировать вооруженную силу куда угодно для защиты «законности и порядка».

Но и у этого рыцаря законности была своя ахиллесова пята. Основой общеевропейской внешней политики тогда была система «европейского равновесия». Правда, эту систему девятнадцатый век получил в наследство от восемнадцатого, но ловкость рук и быстрота, с которыми Наполеон I пытался перекроить в несколько лет всю карту Европы, заставили державы, принявшие участие в Венском конгрессе 1815 года, особенно возлюбить именно эту систему. Карту Европы тогда перекроили вновь и в трактат ввели статью, воспрещающую каждой из пяти великих держав (мелкие этого и не посмели бы сделать) в какой бы то мере нарушать территориальные основы этой системы.

Когда первая война русских с Турцией закончилась Адрианопольским миром, европейские политики, опираясь на статьи Венского трактата, приняли все меры, чтобы его ликвидировать. Кровопролитная война, стоившая много жертв людьми, особенно вследствие бездарности русских генералов и пренебрежения к медицине, почти ничего не дала России.

Между тем очень выигрышное в торговом отношении положение Константинополя на проливах привлекало к нему внимание всех правителей Европы.

Сильнейшая морская держава, имевшая колонии во всех частях света, Англия, более чем какая-либо другая из европейских держав, стремилась к господству над Константинополем и проливами: тот, кто владел этим гениально расположенным городом, владел и всем ближайшим к Европе мусульманским Востоком, — крупный английский капитал всячески предпочитал в этом отношении слабого турецкого султана могущественному русскому царю. Английские правители понимали жизненное значение для России выхода через проливы. Желая изолировать Россию от мирового рынка и лишить ее свободы морских сообщений, английский капитал принимал все меры, чтобы

прочно обосноваться непосредственно у русских границ, сделать Турцию антирусским форпостом. Обширная программа экономического и политического подчинения Турции, проводимая державами капиталистического Запада, маскировалась словами о покровительстве туркам, о защите независимости Османской империи. Это была лицемерная маска, прикрывавшая лишь борьбу захватчиков.

Именно здесь, на этом стыке Средиземного и Черного морей, издавна уже завязался тугой и сложный узел англо-русских отношений.

Больше всего надеялась Англия на Францию, как на единственную сильную союзницу в борьбе с Россией за столицу Турции; а борьбу эту она считала неизбежной рано или поздно.

Венский конгресс гарантировал Бурбонам трон Франции, но Бурбоны были сброшены в июле 1830 года, и в то время как Николай считал Луи-Филиппа узурпатором и готовил против него интервенцию, Англия так же безоговорочно признала его, как впоследствии и Наполеона III, и Николаю в конце концов пришлось удовольствоваться только личной ненавистью к Луи-Филиппу и отказать ему в обращении.

Когда же восставшие против Николая поляки обратились за помощью к Западной Европе, французский министр-президент Казимир Перье поручил Талейрану предложить Англии совместное выступление в пользу Польши. Однако руководитель английской иностранной политики лорд Пальмерстон отказался от этого шага: дело ведь не касалось ни Константинополя, ни проливов. Он ограничился только чисто дипломатической перепиской по польскому вопросу.

Но беспокойство Пальмерстона достигло высшей степени, когда против султана восстал египетский паша Махмет-Али в 1833 году. Его поддерживали и давали ему опытных военных советников французы, вследствие чего Измаил-паша, его сын, одерживал над турецкими войсками одну победу за другой.

Пальмерстон понимал, конечно, что, помогая Махмет-Али, французы собирались мирно овладеть Египтом. Однако это понимал и Николай, пославший черноморскую эскадру на помощь султану и небольшой, но вполне достаточный как авангард десант.

Как раз в это время английский флот блокировал Голландию, и

Пальмерстон не мог собрать внушительную морскую силу для помощи султану. Но он постарался запугать его близостью полного раздела оттоманской монархии и склонил к заключению скорейшего мира с Махмет-Али, — отдать ему меньшее, чтобы не поплатиться большим.

Тем энергичнее стал действовать Пальмерстон впоследствии, чтобы склонить султана не возобновлять с Россией выгодный для нее и невыгодный для Англии союзный Ункиар-Скелесский договор, и вполне достиг своей цели.

Но Николай тем временем пробовал, действительно ли непроходимы для русских войск подступы к богатой Индии, не осиленные ни князем Бековичем-Черкасским при Петре, ни атаманом Платовым с его двадцатитысячным казачьим отрядом при Павле.

И вот в 1836 году русские, совершенно неожиданно для Пальмерстона, уже любовались Индией с плоскогорий Афганистана, а через три года после того граф Перовский начал пробиваться через песчаные пустыни к Хиве. Пусть этот первый блин вышел и комом, но завоевание всей Средней Азии Россией становилось уже возможным в недалеком будущем, и Англия сознавала свое бессилие этому помешать.

Сильная своим умением прибирать к рукам огромные страны, как Ост-Индия, и даже целые материки, как Австралия, английская крупная буржуазия видела, что многие страны, которые она уже считала своими колониями, ускользают из ее рук.

На почве борьбы с английским влиянием в Персии погиб Грибоедов, автор не только «Горя от ума», но и проекта русской торговли с Востоком.

Николай, только что договорившийся в 1833 году с султаном о закрытии проливов для военных судов английского и французского флотов, считал себя обеспеченным от нападения со стороны Черного моря и начал лихорадочно усиливать свой Балтийский флот. Ежегодно должны были строиться два линейных корабля и один фрегат на петербургских верфях, а кроме того, один корабль и один фрегат в Архангельске.

Столкновение с Англией он предвидел: об этом он писал Паскевичу еще за двадцать лет до начала Восточной войны, когда усиленно

начал укреплять Кронштадт и Севастополь с моря.

Но, готовя довольно большой флот с хорошо обученными командами, начиная заводить даже паровые колесные суда как боевые единицы флота, Николай упустил из виду то, что свойственно ему было упускать из виду всегда: прогресс, движение вперед пытливой человеческой мысли.

Он любил строить прочно и надолго, как гоголевский Собакевич, но он забывал, что, кроме никем и ничем не ограниченной власти самодержцев, в мире царит сила ума и что изобретатель паровой машины сделал гораздо больше для изменения жизни человечества, чем все генералы его свиты в казачьих и прочих мундирах, один другого блистательней и краше.

И если, борясь всю жизнь с революцией, он не сумел догадаться, что главный и непобедимый революционер — время, то и, вводя новую судостроительную программу в 1833 году, он не предвидел движения техники вперед, что к началу пятидесятых годов винтовые паровые суда, введенные в строй английского и французского флотов, сделают невозможным сопротивление им русских парусных и даже колесных паровых судов.

Маршируя всю жизнь сам и заставляя неукоснительно образцово маршировать других, Николай не ценил творческого таланта народа, его замечательных ученых и изобретателей. Виновником технической отсталости России в то время был сам царь.

III

Какие бы условия ни были этому причиной, — удачное ли положение при устье Темзы, известной еще древним финикийцам, или «Великая хартия вольностей»^{28}, — но Лондон сделался для девятнадцатого века крупнейшим торговым центром, таким же, как Тир или Карфаген для древности, или Венеция и Генуя для средних веков.

Лондон был банкирской конторой для всего мира. Здесь оформлялись иностранные займы, здесь пускались в ход все крупнейшие финансовые предприятия.

Можно было двигаться на пароходе вниз по Темзе от собственно

Лондона к морю несколько часов и видеть справа и слева угнетающе-однообразную картину: из-за густейшего леса мачт, парусов, паровых труб вырисовывались в тумане, похожем на дым, складочные конторы, магазины, фабрики, жилые дома... и совершенно без промежутков шли док за доком: за Лондонским Индийский, за Индийским Внешний, за Внешним Гринвич, за Гринвичем Ост-Индский, — каждый док по несколько миль длиною, и этому однообразию изобилия совершенно не виделось конца, и все это неисчислимое богатство принадлежало частным компаниям, охранялось же оно от иностранных грабительских покушений только военным флотом: практические дельцы, англичане считали совершенно излишним содержать большую армию в мирное время. Кроме того, большие сухопутные армии для войны в Европе должны были найтись у континентальных государств, с которыми Англия вступала в союзы.

Поэтому Франция, — была ли она королевством, республикой или империей, — являлась нужнейшей для Пальмерстона страной в его подготовке борьбы с Николаем при помощи пушек и штуцеров.

Правда, Николай в бытность его в Виндзоре в 44 году предлагал юной тогда Виктории своих храбрых гренадеров на случай каких-либо затруднений, однако никто из государственных людей Англии не подумал отнестись к этому сочувственно: самая идея союза Англии с Россией казалась им совершенно противоестественной.

Но вот вскоре после отъезда Николая в Петербург несколько расстроились дела «сердечного соглашения»: Франция вышла из рамок политических приличий в Марокко и на островах Таити и тем задела интересы англичан. Лорд Абердин, глава кабинета министров, пригласил к себе Нессельроде, бывшего в то время на водах за границей, для обсуждения вопроса о союзе.

Николай ликовал: «Ведь я им говорил, что они без меня не обойдутся и будут просить о помощи, — писал он на донесение Нессельроде. — Вот плоды их подлости за четырнадцать лет!»

По желанию Николая и просьбам Нессельроде лорд Абердин написал меморандум своих бесед с Николаем на тему «больного человека» и спрятал его в архив, как ни к чему не обязывающую бумагу, а с Францией помирился.

Между тем прежняя политика Англии у постели «больного человека» продолжалась. Послом в Константинополь был назначен сэр Стратфорд Канинг, — впоследствии сделанный лордом Редклиф, — яростный ненавистник России, старавшийся держать в подчинении себе всех высших чиновников султана. Он тайно руководил и отправкой английского оружия контрабандным путем на Кавказ горцам, чтобы как можно более затруднить Николаю покорение этой страны. В этом ревностно помогали лорду Редклифу и французские консулы юга России и Одессы — Тэт-Бу де Мариньи и Омер де Гелль, муж французской поэтессы Адели.

За помощью к Николаю обратились не английские лорды, а совсем юный, восемнадцатилетний император Австрии Франц-Иосиф, в пользу которого отказался от престола впавший в панику и бежавший из Вены его отец Фердинанд в грозном для многих европейских монархов 1848 году.

Может быть, и он обошелся бы все-таки без помощи русских войск, но войска пришли: небольшая венгерская армия сдалась им без боя, Николай получил от эмигрантов прозвище «жандарма Европы», Англия же еще более обеспокоилась усилением его влияния, и через четыре года, когда Франция сделалась империей, английские политики решили, что настало время решительных действий.

Когда все готово уже для ссоры, подсчитаны ресурсы противника и приведены в полную ясность свои, тогда ищут обыкновенно хоть сколько-нибудь подходящего предлога для начала.

Таким именно предлогом оказался вопрос о «святых местах» Палестины, где ключами от вифлеемской церкви хотели владеть католические ксендзы, как до того владели ими православные священники. Вопрос по существу был вздорный и ничтожный, но из этих ключей сумели сделать совсем другие ключи — ключи к европейской драме, получившей название Восточной войны.

В николаевской России не канцлер Нессельроде по существу ведал иностранной политикой, а сам Николай. И в то время как испытанный дипломат князь Меншиков, доказавший еще четверть века назад свое умение говорить с азиатскими монархами и засажженный за это умение персидским шахом Фетх-Али в крепость, был послан царем в

Константинополь вести переговоры там, на месте, о «ключях» и прочем, — Николай решил сам начать переговоры, только уже не с султаном, а с представителем Англии при своем дворе.

9 января 1853 года был раут у великой княгини Елены Павловны, на который приглашен был английский посланник Гамильтон Сеймур, потому что с ним хотел побеседовать Николай об очень важном деле. Это важное дело было — раздел Турции на тех же основаниях, на которых при Екатерине II проведены были разделы Польши.

По мысли Николая, к дележу Турции должны были приступить — и притом немедленно — только две державы: Россия и Англия. С Францией, в которой воцарился Наполеон III, начавший спор о «святых местах», то есть о покровительстве христианам, подданным султана, покровительстве, издавна принадлежавшем России, Николай отнюдь не хотел считаться; что же касается Австрии, то к ней Николай относился слишком свысока и слишком покровительственно, чтобы считать ее вполне самостоятельной монархией и брать ее полноправным членом в свою компанию.

Беседа Николая с Сеймуром состоялась. Самодержец был совершенно откровенен.

— Турецкие дела находятся в состоянии большой неустойчивости, — говорил он. — Страна грозит рухнуть. Ее гибель будет большим несчастьем, и важно, чтобы Англия и Россия пришли к полному соглашению и чтобы ни одна из этих двух держав не предпринимала решительного шага без ведома другой. Видите ли, на наших руках больной человек, — очень больной человек! Откровенно говорю вам, было бы большим несчастьем, если бы он скончался раньше, чем будут сделаны все нужные приготовления.

Разговор этот был продолжен через несколько дней уже в кабинете царя, как более деловом месте. Посвятив сэра Гамильтона во все тонкости восточного вопроса и в его историю, Николай перешел к «больному человеку», который может умереть внезапно, и тогда:

— Хаос, путаница и неизбежность европейской войны должны сопровождать катастрофу, если она наступит неожиданно и если не будет заранее составлен другой план... Я буду говорить с вами как друг и джентльмен, — горячо сказал самодержец посланнику другого

самодержца — английского капитала. — Если нам, Англии и мне, удастся достигнуть соглашения в этом вопросе, то другие меня мало интересуют. Мне безразлично, что будут делать или думать другие. Поэтому я хочу оказать вам с полной откровенностью: если Англия имеет намерение усесться когда-нибудь в Константинополе, я этого не допущу! Со своей стороны я также готов обязаться не занимать Константинополя, разумеется в качестве собственника, потому что быть держателем его по поручению я бы не отказался. Если же не будут сделаны все нужные приготовления и все будет предоставлено случаю, то возможно, что обстоятельства заставят меня оккупировать Константинополь.

Сколь ни был изумлен сэръ Гамильтон этой тяжелой откровенностью царя, он, поблагодарив его за доверие, напомнил ему о Франции, которая может, пожалуй, — конечно, на свой страх и риск, — снарядить военную экспедицию в империю султана.

— Поверьте, — быстро отозвался Николай, — что такой шаг довел бы дело до острого кризиса! Чувство чести заставило бы меня без промедления и колебания двинуть свои войска в Турцию, если бы даже такой образ действий повлек за собой крушение Турецкой империи... Я сожалел бы о таком результате, но все-таки считал бы, что действовал так, как вынужден был действовать!

— Но ведь крушение Турецкой империи оставило бы незаполнимую пустоту, ваше величество! — возразил Гамильтон.

— Вот это-то и было бы возвышенным триумфом для цивилизации девятнадцатого столетия, — Николай дружески взял его за локоть, — если бы оказалось возможным заполнить пустоту эту без нарушения всеобщего мира! Как же именно? Просто: путем принятия предохранительных мер двумя — только двумя! — правительствами, наиболее заинтересованными в судьбах Турции!

Сеймур передал, конечно, свой разговор с Николаем срочной депешей на имя лорда Джона Росселя, неизменного представителя делового Сити в кабинете министров, в то время министра иностранных дел.

Ответ Росселя Сеймуру был очень тщательно обдуман и полон доказательств в пользу того, что «больной человек» отнюдь не настолько болен, чтобы не иметь силы отчаянно защищаться, что,

наконец, если бы Николай стал «держателем» Константинополя, то это было бы очень опасно для него вследствие зависти Европы, так как ни Англия, ни Франция, ни даже Австрия не примирились бы с тем, чтобы Константинополь оставался в руках России. Он лицемерно уверял со своей стороны, что Англии Константинополь не нужен и что ей чуждо желание овладеть им. Напоминал собственные слова Николая, что его империя и без того очень велика, чтобы желать приращения ее территории. Осторожно советовал соблюдать величайшую сдержанность по отношению к Турции, избегать сухопутных и морских демонстраций против султана. Что же касается христиан, подданных султана, то Россель предлагал только «посоветовать» турецкому правительству обращаться с ними «по правилам равноправия и свободы веры, принятым просвещенными нациями Европы».

Заканчивая свою довольно длинную депешу, Россель просил сэра Сеймура прочесть ее графу Нессельроде, а если это будет признано им желательным, то и передать копию ее лично Николаю, «прибавив к ней уверения в дружбе и доверии ее величества нашей королевы».

По получении этой депеши в Петербурге состоялась еще беседа сэра Гамильтона с Николаем, наиболее определенная и откровенная.

На скромный вопрос Сеймура, чего он хотел бы конкретно, Николай ответил так:

— Я не хочу прочного занятия Константинополя русскими, но этот город ни в каком случае не должен и перейти во владение какой-либо другой великой нации; я никогда не допущу попытки восстановить Византийскую империю; не допущу и расширения Греции до размеров большого государства; но тем более не допущу я раздробления Турции на мелкие республики — убежища для Кошута, Маццини и других европейских революционеров. Скорее я начну войну, чем примирюсь с одним из таких оборотов событий!

Практический англичанин, сэр Гамильтон, конечно, притворился изумленным тому, что его высокий собеседник как будто совершенно ничего не хочет положительного, но Николай скоро успокоил его на этот счет, добавив:

— Княжества Молдавия и Валахия являются независимыми государствами под моим покровительством; это так и могло бы

остаться. Сербия могла бы получить такую же форму правления. Болгария — тоже. Что же касается Египта, то я вполне понимаю важное значение этой области. Могу поэтому лишь сказать, что если бы при разделе империи османов вы овладели Египтом, я не имел бы ничего против. То же самое могу сказать о Крите. Что касается Франции, — небрежно припомнил царь, — то одной из ее целей является, несомненно, овладеть Тунисом.

— Ваше величество, — воскликнул сэр Гамильтон, — но ведь есть еще Австрия!

— О-о, Австрия! — с улыбкой успокоил его Николай. — Если я говорю о России, то тем самым я говорю и об Австрии. В отношении Турции наши интересы вполне совпадают. Франция — другое дело. Похоже на то, что французское правительство желает всех нас перессорить на Востоке. Менее месяца тому назад я даже предложил султану свою помощь для сопротивления французам. Все, чего я хочу, — это соглашения с Англией, и то не о том, что следует делать, а о том, чего делать не следует. Что же касается Константинополя, то я ведь послал туда только своего Меншикова, а согласитесь сами, что мог бы послать, если бы пожелал, и целую армию! Итак, побудите ваше правительство еще раз написать мне об этих делах подробнее и без промедления!

С этими словами царь подал руку Сеймуру, давая ему понять, что им оказано все; ответ был за министрами Виктории.

Правда, он не поделился с сэром Гамильтоном тем, что обратился к своему шурина, королю Пруссии, с секретным письмом о своих отношениях к Франции и Англии.

Из уклончивого ответа лорда Росселя он видел, конечно, что едва ли удастся ему расколоть «сердечное соглашение», а между тем Наполеон III действовал в своих притязаниях на опеку турецких христиан явно вызывающе и, разумеется, не без ведома и одобрения Англии.

Поэтому Николай писал Фридриху-Вильгельму что союзники, столь тесные и дружные, как Франция и Англия, его нимало не пугают на суше, на море же они как сильнейшие морские державы, действуя соединенным флотом, несомненно могут вести успешную блокаду, и в

этом их главный козырь. Но в апреле, к концу месяца, у него будет не меньше шестисот тысяч войск, из которых двести он мог бы предоставить ему с условием, что он двинется на Париж и сдернет узурпатора с французского трона.

Так писал прусскому королю русский самодержец, не перестававший смотреть на немецкие государства, только как на свои передовые форпосты.

Несколько дней бредил Фридрих-Вильгельм военными подвигами, которые совершил бы он во главе железных русских полков, но более трезвые, чем он, министры его испугались этого и упростили его отказаться от лестного предложения Николая.

Ответ на предложение Николая, выраженное на последнем свидании с Сеймуром столь определенно, несколько запоздал. Поражены ли были лорд Россель и другие участники секретного обмена мнений между двумя дворами грандиозностью замыслов Николая? Нет, просто произошла в это время смена министерства, и вместо лорда Росселя отвечать Николаю пришлось новому министру иностранных дел, графу Кларендону.

И он ответил, наконец.

Переменились министры, но мнение квартала Сити, правившего Англией, осталось то же самое: раздел Турции был нежелателен, потому что опасен.

«Интересы России и Англии на Востоке совершенно тождественны, — наивно пытался убедить Николая Кларендон, — но ни один крупный вопрос на Востоке не может быть поднят без того, чтобы не стать источником раздоров на Западе».

Следовательно, опасался он не войны Запада с Россией, а войны двух сильнейших и дружественных государств — Франции и Англии.

В этом было, конечно, большее знание человеческой психологии, чем у слишком занятого только собою русского царя. Но Кларендону отлично была известна и психология царя, и он добавлял, чтобы тому были вполне понятны опасения Англии:

«Каждый крупный вопрос на Западе будет принимать революционный характер и включать в себя пересмотр всего общественного уклада. Отсюда возникает стремление правительства ее величества

предотвратить катастрофу».

Другими словами, английский самодержец — капитал — не столько боялся войны, даже и со своим союзником Францией, сколько пугала его перспектива получить в результате этой войны английскую революцию, которая была бы не хуже французской.

Между тем, пока происходил этот серьезнейший обмен мнениями по вопросу о Турции, полномочный посол Николая, светлейший князь Меншиков, прибывший в Константинополь с большою свитой, вел переговоры с турецкими министрами о «святых местах».

Но между секретнейшими и гласными переговорами была самая тесная зависимость, известная в то время очень немногим. И если английские министры — Россель и Кларендон — стремились писать свои ответы Николаю преувеличенно дипломатическим языком, то несколько иной язык оказался у английского посла в Константинополе, лорда Стратфорда Редклифа.

Правда, этот лорд не только ненавидел Россию, но имел все основания ненавидеть и Николая, который энергично отклонил назначение его, еще лет за двадцать до того, послом в Петербург.

Но его не хотели видеть послом и в Париже: он был известен как человек с тяжелым характером. Ему оставалось только ехать посланником в Константинополь, и здесь он подчинил своему влиянию великого визиря и пашей.

В другое время и при другом английском посланнике дело о ключах вифлеемской церкви, о починке купола иерусалимского храма, о странноприимном доме для русских паломников и о прочих подобных пустяках отнюдь не потребовало бы и торжественного чрезвычайного посольства, но именно на этих пустяковых вопросах скрестились шпаги двух весьма неуступчивых людей — Меншикова и Стратфорда, которые отлично знали, что им надо говорить, но еще лучше знали, о чем следует молчать.

Меншиков, которого между прочим сопровождал и адмирал Корнилов, прибыл на пароходе «Громозец» в Константинополь в середине февраля и пробыл там до половины мая, напрасно теряя время в дипломатических уловках и совершенно бесполезных переговорах о «преимущественных правах российского императора на

покровительство христианам, подданным Оттоманской империи»; лорд Редклиф в гораздо большей степени, чем даже французский посланник, внушал турецким сановникам, что подобной конвенции они не смеют подписывать, так как умаляют этим права султана.

Меншиков, наконец, угрожал открытием военных действий, если эта конвенция не будет подписана, но Редклиф убедил турецких сановников не пугаться и этого. Меншиков просил аудиенции у султана и на эту аудиенцию явился в штатском пальто и высоком цилиндре, как обыкновенно ходил в Константинополе. Он говорил с султаном властным тоном. Он при своем высоком росте и внушительной фигуре как бы сознательно «представлял» своего императора. Недалекий, женоподобный, застенчивый султан Абдул-Меджид совершенно был обескуражен его видом и его резким тоном и лепетал в ответ довольно бессвязно то, что было подсказано ему суфлером — Редклифом.

Видя, что последняя карта его — угроза войною — бита, Меншиков сообщил в Петербург, что оставаться долее в Константинополе не имеет уже никакого смысла, и выехал в Одессу.

Но угроза войной была, конечно, продиктована Меншикову самим Николаем, и у Николая был план этой войны. Он хотел для начала повторить тот прием, который беспрепятственно выполнил двадцать лет назад: посадить дивизию на суда Черноморского флота и высадить ее в Константинополе, а с суши подкрепить этот небольшой десант двумя-тремя корпусами, которые должны были идти с предельной быстротой из Бессарабии на Константинополь.

Николай, автор этого плана, был далеко не молод, — ему было уже под шестьдесят; но и Меншиков и Паскевич, которые должны были приводить этот план в исполнение, как люди еще более пожилые и опытные, решили, что план этот не сулит удачи.

Меншиков всеподданнейше доносил, что Черноморский флот не в состоянии вести бой с объединенными флотами французов, англичан и турок в Босфоре и будет неминуемо уничтожен, и что Константинополь далеко не так беззащитен, чтобы его можно было захватить с налету небольшим десантом; а Паскевич не менее всеподданнейше разъяснял, что на пути к Константинополю от

русской границы и даже от Варны, если бы удалось в окрестностях ее высадить десант, есть сильно укрепленные пункты и достаточное число турецких войск, которые отлично умеют защищаться в своих крепостях, что молниеносного марша сделать будет нельзя ввиду больших обозов, неразлучных с армией, наступающей по чужой стране, а всякое промедление будет усиливать турок и ослаблять русских.

Он советовал применить испытанный уже прием: занять войсками княжества Молдавию и Валахию, что к тому же не должно будет считаться за открытие действий против Турции и в то же время заставит турок быть гораздо сговорчивей, а странам покажет, что русский царь смотрит на дело вполне серьезно.

Этот план своего испытанного стратега и должен был принять Николай. Он отлично понимал, что унылый план этот ни к чему удачному для него привести не может, но это был план фельдмаршала — высшего военного авторитета его государства.

IV

Объявлена война была на месяц раньше Синопского боя, именно 20 октября 1853 года.

Турецкий главнокомандующий Омер-паша, опираясь на обещанную Англией и Францией помощь, послал ультиматум князю Горчакову: очистить в двухнедельный срок княжества, занятые его армией, иначе он откроет военные действия.

Княжества, конечно, очищены не были, и на Дунае раздались первые пушечные выстрелы, вслед за которыми Николай издал манифест о войне с Турцией.

Манифест был доставлен из Севастополя Нахимову, когда он крейсировал в море, держась около берегов Малой Азии. Получено было известие, что турки отправили три груженные орудиями парохода-фрегата из Константинополя на Кавказ, в Батум, но до объявления войны задерживать эти турецкие суда, а тем более сражаться с ними запрещалось; приказано было только следить за ними.

Турецкие боевые суда в свою очередь следили за русскими судами, то

появляясь на виду у них, то скрываясь.

Между тем море было бурное, как всегда осенью; дули сильные штормовые ветры; совершать прогулки по такому морю на парусных судах было весьма опасно, не говоря уже о том, что бесполезно для дела войны. Манифест развязал руки Нахимову, а турецкую эскадру собрал в Синопскую бухту под защиту береговых батарей.

Синоп — родина философа древности Диогена и Митридата VI, царя Понтийского, — был в те времена небольшим полугреческим-полутурецким городком, с верфями для постройки судов, хорошо защищенных с моря. В Синопской бухте укрылось двенадцать военных судов и два транспорта, между тем как продолжительная борьба парусных судов эскадры Нахимова со штормами весьма истрепала их.

Наиболее пострадавшие от штормов Нахимов отправил в Севастополь, оттуда же получил несколько кораблей взамен, и больше недели тянулась эта смелая блокада Нахимова синопского порта с силами гораздо меньшими, чем турецкие силы. Он дал приказ атаковать противника, если тот вздумает покинуть порт, несмотря на явное неравенство шансов на победу. Однако турецкий адмирал — капудан-паша Осман — отнюдь не хотел выходить, не веря тому, что половина эскадры Нахимова ушла чиниться в Севастополь. Через английского консула в Синопе он послал сухим путем донесение в Константинополь лорду Стратфорду о том, что русская эскадра крейсирует в виду Синопа, — значит, стоит только послать союзный флот отрезать ее от Севастополя, и она будет истреблена, если не сдастся.

Гонец английского консула успел прибыть вовремя, однако союзная эскадра послана не была: боялись штормовой погоды.

Между тем Нахимов, собрав нужные ему силы — шесть кораблей и два фрегата, — вошел в Синопский рейд.

Осман-паша был опытный моряк, участник Наваринского боя^{29}, так же как и Нахимов. Одним из судов его флота, двадцатипушечным пароходом «Таиф», командовал англичанин Слэд, четверть века проведенный на турецкой службе.

У Нахимова не было пароходов. Притом береговые батареи могли обстрелять его суда калеными ядрами и зажечь их, он же был связан

приказом не наносить вреда береговым турецким городам и селениям: человек глубоко штатский, канцлер Нессельроде думал, что вполне возможно это — атаковать турецкий флот на рейде портового города и уничтожить его, не нанеся самому городу во время боя никакого вреда.

Бой начался, едва только на близкое расстояние к турецкому флоту подошли русские суда и стали на якорь как неподвижные крепости против двух линий неподвижных тоже крепостей — на море и на суше. Матросы, по приказу Нахимова, не спеша и своевременно пообедали перед боем. Дул норд-ост, и шел спорый осенний дождь, когда суда подходили к рейду, но когда вошли в него, дождь перестал и Синоп со своими крепкими стенами и башнями резко забелел впереди на высоком перешейке полуострова, отгородившего от моря бухту.

На судах Нахимова все были на своих местах и спокойны; между судами Османа-паши беспорядочно металась шлюпки; пароходы разводили пары; группы турецких солдат-артиллеристов на берегу бежали к своим орудиям: нападения в этот день — 18 ноября — явно не ждали турки.

Однако они первые открыли огонь, и все развертывание русских судов прошло под сильной канонадой береговых и морских батарей. Но вот сблизилась линия судов-противников на полтора сажен, и Синопский рейд окутало густым туманом, сквозь который прорезались желтые вспышки выстрелов.

Канонада длилась около трех часов.

Линейным стопушечным кораблем «Париж» командовал Истомин. Адмирал Корнилов с тремя пароходами спешил на помощь Нахимову из Севастополя, но опоздал к началу боя из-за бурной погоды. Мимо его пароходов, развивая предельную скорость хода, бежал Муштавер-паша, капитан Слэд на своем пароходу «Таиф». Корнилов гнался за ним на пароходу «Одесса», все время обмениваясь с пароходом выстрелами, но не догнал.

«Таиф» и был единственным судном турецким, спасшимся от синопского разгрома. Все остальные или были потоплены выстрелами с русских судов, или выбросились на берег, или сгорели, или были взорваны своими же командами. Взрывы эти далеко в город занесли

горящие обломки и зажгли дома.

Синоп горел, когда Корнилов вошел на рейд после погони за «Таифом», и команды париходов кричали «ура» своим товарищам — морякам эскадры Нахимова.

Израненный Осман-паша и человек двести, кроме него, были взяты в плен; часть команды судов спаслась на берег; от трех до четырех тысяч погибло. На русских судах насчитали около двухсот пятидесяти убитых и раненых.

Линейные корабли «Три святителя», «Императрица Мария», «Ростислав» получили по несколько десятков пробоин, а «Великий князь Константин» — сто девятнадцать.

Суда не могли бы перенести перехода по бурному морю в Севастополь, если бы их не чинили команды с не меньшей энергией, какая была выказана ими в бою.

Только через полтора дня — именно в ночь на 20 ноября — эскадра снялась, наконец, с якоря и частью на буксире париходов, частью своими силами двинулась к родным берегам.

Союзники не выслали на помощь турецкому из Босфора свой флот: английские и французские адмиралы боялись шторма.

Когда Нахимов, Корнилов и Истомин подходили медленно и трудно к Севастополю, вся набережная была усеяна народом, радостно возбужденным. Привычные глаза севастопольцев различали суда; они видели, что суда идут после боя, — так они были изранены, но ни одно из ушедших судов не погибло, — значит, победа.

Только один Меншиков отменил всякие празднества по случаю синопской победы и приказал остановить все суда на внешнем рейде, а экипажам их объявить трехдневный карантин.

Одновременно с победой над турецким флотом русские сухопутные силы одержали под командой Андронникова при крепости Ахалцых крупную победу над большим отрядом турок.

Донесения об этих двух делах дошли в Петербург в один и тот же день, 29 ноября, и этот день был днем большого ликования Николая. Но если к победам на суше он уже привык и другого исхода сражения не ожидал от своих полков, то первая в его царствование победа флота над иноземным, хотя бы и турецким, флотом окрылила его

донельзя. Об этом он писал и Меншикову:

«До какой степени обрадован я был радостною вестью славного Синопского сражения, не могу довольно тебе выразить, любезный Меншиков! Оно меня осчастливило столько же важностью последствий, которые, вероятно, иметь будет на дела наши на черноморской береговой линии, но почти столько же потому, что в геройском деле сем вижу, что за дух, благодаря бога, у нас в Черноморском флоте господствует от адмирала до матроса... Уверен, что при случае, от чего боже упаси, но и балтийские товарищи не отстанут. Это моему сердцу отраднo и утешительно среди всякого горя. Пришли список увечных и раздай безруким и безногим по сто рублей каждому...»

Фельдъегерем послан был к царю с известием о синопской победе адъютант Меншикова подполковник Сколков, бывший очевидцем боя. Сколков был на радостях произведен в полковники и сделан флигель-адъютантом... для того, чтобы в сражении на Алме вступить в смиренные ряды безруких и утешаться тем, что со временем могут и его, как безрукого генерала Скобелева, назначить комендантом Петропавловской крепости.

Переговоры дипломатов по поводу «святых мест» тянулись слишком долго, для того чтобы не утомить русскую публику, читающую газеты. Предчувствия войны были тяжелы для всех, тем радостней отозвались все на победу при Синопе.

Тысячи патриотических стихотворений наводнили редакции журналов и газет. Даже старый друг Пушкина и Жуковского князь Вяземский напечатал в «Русском инвалиде» свои стихи, посвященные Нахимову и Бебутову, победителю турок на Кавказе, при Баш-Кадык-Ларе.

Владимирское дворянство пожертвовало тридцать пять тысяч серебром в пользу войск, «преимущественно Черноморского флота в ознаменование одержанной им победы при Синопе». Вслед за этим пожертвования полились рекою. Простыми волонтерами записывались в полки сыновья знати.

Нестор Кукольник с большой быстротой написал трескучую пьесу «Синоп», имевшую бешеный успех в Петербурге.

Спектакли проходили при сплошных аплодисментах публики, которые

доходили до высшей силы при упоминании об императоре Николае, о прежних подвигах флота, о создателе Черноморского флота адмирале Лазареве...

Совсем иначе отнеслись к синопскому делу на Западе. Когда известие об уничтожении турецкого флота Нахимовым дошло до Лондона, оно вздыбило всю английскую буржуазию, точно не турецкий, а британский флот потерпел неслыханное поражение.

И статьи газет, и речи на митингах, и даже речи в парламенте стали сводиться к тому, что русский флот на Черном море должен быть истреблен, а Севастополь, как древний Карфаген, разрушен.

Для иных журналистов казалось делом чрезвычайно легким не только разрушение в самый короткий срок Севастополя, но даже и Кронштадта и последующая оккупация Петербурга.

Страсти разгорелись чрезвычайно. Англия «начала точить сабли». Эскадре английской, так же как и союзной французской эскадре, был дан приказ войти в Черное море и блокировать Севастополь.

Так началась война.

Глава четвертая. Часы тревоги

I

Когда адъютант Меншикова штабс-ротмистр Грейг после подробнейшего доклада о сражении на Алме рисовал Николаю состояние, в котором оставил он армию и Севастополь, то старался уже больше не раздражать царя неприкрытой правдой.

— В порядке ли отступили части? — тяжело глядя на него, вторично спросил царь.

Перед Грейгом мгновенно и очень ярко встала картина: усталые встречные матросы около усталых сивых волов и длинные хоботы морских орудий на скрипучих возах, — запоздалая поддержка, посланная Меншикову Корниловым, — костры и около них фельдфебеля разных полков, зычными выкриками в темноте сзывающие своих солдат, и прочее вполне законное, конечно, при столь поспешном отступлении, — но он, на момент зажмурясь перед

ответом, ответил вполне отчетливо:

— В совершенном порядке, ваше величество!

— А наступление этих... — несколько запнулся царь.

— Наступление союзных армий, — поспешил ответить Грейг, — совсем не было замечено, ваше величество, ни восьмого числа, ни девятого утром.

— А ты... каким же маршрутом ты ехал из Севастополя?

Грейг понял вопрос.

— Дорога на Симферополь была совершенно свободна от неприятеля, ваше величество.

Николай вскинул на него круглый подбородок, под которым на выдавшемся заострившемся кадыке Грейг заметил морщинистую, вялую желтую кожу, обычную для людей около шестидесяти лет.

— Была свободна девятого числа, когда ты ехал, а теперь? — И, не дав Грейгу ответить на этот вопрос, задал ему другой: — Где должны будут сосредоточиться войска для защиты Севастополя?

Грейг ответил, как слышал от самого Меншикова, что — на Инкерманских высотах, на левом фланге наступающей армии союзников, которых укрепления Северной стороны должны будут встретить, как должно.

После еще нескольких расспросов отпустив, наконец, Грейга, Николай стал писать, слишком нервно нажимая на перо и разбрызгивая чернила: «Любезный Меншиков!..»

Так обыкновенно начинал он письма своему командующему Крымской армией, но все прежние письма писались им человеку, который был общепризнанно умен и остер; часто приглашался во дворец как прекрасный собеседник, особенно ценимый за это императрицей великой княгиней Еленой Павловной, великими княжнами и фрейлинами. Часто повторялась о нем во дворце острота опального генерала Ермолова, которому (это было в 14 году, во Франции, на походе) Меншиков жаловался на то, что пропали где-то его бритвы и он уже три дня не брился. «Нашел о чем тужить, — сказал Ермолов. — Высунь язык и обрейся!..»

Как управляющий делами морского министерства — Меншиков отлично поставил флот, особенно Черноморский, так блистательно

показавший себя в Синопском бою; как генерал-губернатор Финляндии — он был вполне на месте, успешно вел борьбу с казнокрадством чиновников, чего никак не мог добиться Киселев в министерстве государственных имуществ; как полномочный посол в Константинополе — он сделал все, что можно было сделать, не роняя престижа России на Востоке...

Но теперь, после поражения на Алме, Меншиков был уже не тот — как будто кто-то подменил этого привычного, на глазах его состарившегося человека. Теперь на него легла черная тень неудачного полководца; он не оправдал надежд, которые были связаны с его именем...

Вдвое меньше войска, чем у союзников? Да, но князь Бебутов разбил же Абди-пашу с его тридцатичетырехтысячной армией при Баш-Кадык-Ларе, имея всего пятнадцать — шестнадцать тысяч! Правда, там были турки, а не англо-французы, но ведь англо-французы наступали, а Меншиков защищал позицию, которую сам же в донесении называл очень крепкой...

Было три кита в русской армии: князь Варшавский, князь М. Д. Горчаков и князь Меншиков. Но первый очень одряхлел, часто болел, задыхался, с трудом подымался на лошадь и без чужой помощи не мог с нее слезть... Однако даже его, полумертвого, пришлось назначить главнокомандующим Дунайской армией взамен Горчакова, так как этот оказался решительно никуда не годным на таком ответственном посту.

Он был безукоризненно честен, он был беззаветно храбр во время сражений, он, как никто, был заботлив о нуждах солдат, и он был безупречный работник в штабе, но совершенно без пользы и нужды издергал и самого себя, и всех своих ближайших подчиненных, и всю стотысячную Дунайскую армию, когда, по рекомендации князя Варшавского, был назначен главнокомандующим.

Его беспокойному, воспитанному в штабах уму то и дело представлялись тысячи случайностей и мелочей, которые могли совершенно испортить ту или иную с великим трудом выработанную им же лично диспозицию войск, и он, ударив себя ладонью по лбу, гнал одного своего адъютанта в одну сторону с дополнительным

приказанием, другого в другую — с приказанием прямо противоположным данному накануне... Иногда в один и тот же день по нескольку раз менял он приказы по армии; но дня этого все-таки было ему мало: он вскакивал и среди ночи будил своего начальника штаба генерала Коцебу и принимался за исправления и переделки своих дневных приказов, доводя Коцебу до отчаяния.

Командующих отрядами войск, рассеянных по Дунаю, он до того задергал, что они не смели уж и думать о малейшей самостоятельности действий; благодаря этому Омер-паша, противник Горчакова, вел всю дунайскую кампанию так, как ему было выгодно, нападая там и тогда, где и когда удавалось ему собрать явно превосходные по числу силы.

Так при деревне Четати был почти истреблен большим турецким отрядом Тобольский пехотный полк; неудачно для русских было сражение при Ольтенице; неудачны были действия при Калафате.

Горчаков сам понимал, что великое бремя главнокомандующего вручено в его лице ладье малой, и каждый день казалось ему, что он с этим бременем пойдет ко дну и опозорит Россию. Поэтому он находил время среди всех своих военных забот и трудов писать длиннейшие, подробнейшие, всеподданнейшие письма ему, Николаю, испрашивая его приказаний. Но он, кроме того, обращался за советами и к своему бывшему начальнику князю Варшавскому, и к своему другу юношеских лет, князю Меншикову, так что дунайскую кампанию вели они как бы вчетвером: прежде всего — он сам, Николай, самодержец всероссийский, затем Паскевич, Меншиков и, наконец, Горчаков, из всех четверых наиболее скромный как военачальник и даже поэт в душе. Это Горчаков там, на Дунае, сочинил солдатскую песню, начинающуюся куплетом:

Жизни тот один достоин,
Кто на смерть всегда готов.
Православный русский воин,
Не считая, бьет врагов!

Николай вспомнил, как приказал стихи эти положить на музыку и какая по этому поводу длинная была переписка.

Но, несмотря на всю воинственность этой песни, дела на Дунае шли из

рук вон плохо. Пришлось упрашивать Паскевича взять на себя командование армией, обложившей Силистрию — турецкую крепость на Дунае, — и не умевшей ее взять, что вызывало бесконечные издевательства заграничных газет.

Вспомнилось, доносил ему посланный им к Паскевичу флигель-адъютант полковник Ланской, что сердитый старик разорался — зачем его разбудили ради прибытия Ланского, испортили ему послеобеденный отдых, и запустил в Ланского своею палкой...

Под Силистрией он только лежал на персидском ковре на солнцепеке и играл в шахматы со своим неизменным партнером, чиновником Петровым, которого как шахматиста переманил к себе на службу в Варшаву из Петербурга, выгодно женил на дочери богатого интенданта, очень быстро произвел в статские советники и наслаждался победами на шахматном поле над этим молодым хитрецом, который изо всех сил старался не выиграть ни одной партии у маститого фельдмаршала.

А другой молодой хитрец, император Франц-Иосиф, как пешку обошел его самого, могущественнейшего монарха Европы: благодаря ему усидев на своем троне в 49 году, он показал теперь ему свои зубы! Он, к которому Николай был так искренне расположен, оказался вдруг в стане его врагов!

Опасаясь, что в тыл ему пойдет двухсоттысячная австрийская армия, Паскевич вместо сигнала к атаке и штурму Силистрии приказал трубить отбой!

Дунайская армия откатилась назад в Бессарабию... Иностранные газеты нельзя было взять в руки, — казалось, что они обожгут даже пальцы огнем стыда.

Все это нужно было перенести ему, Николаю, при его огромном самомнении. И все это он перенес...

Князь Варшавский, уверяя, что опасность грозит и Варшаве, уехал в свой дворец наместником Польши. Горчаков снова принял командование над армией, теперь уже Южной, а не Дунайской. Первый этап войны был завершен бездарно и бесславно.

Николай скомкал забрызганный чернилами лист со словами «любезный Меншиков», бросил его под стол, подошел к окну.

За окном, в парке, надоевшем, унылом, противном, ретиво подметали в мокрых от только что переставшего дождя аллеях опавшие листья. Ветер трепал верхушки деревьев, почти уже голые, серые... Осень, — близость конца, — скверные известия из Крыма, притом известия поневоле давние: то, что было там несколько дней назад... А теперь что там? И хотелось и не хотелось знать подлинно и точно, что там теперь. На него, самодержца всея России, нападала какая-то оторопь, и некуда было повернуться, чтобы ее сбросить с себя: не было около людей, на которых можно было бы опереться. Сорок тысяч столоначальников управляли Россией незримо, но ощутительно, и это годилось для домашнего обихода и не годилось, как оказалось на деле, для приема непрошенных гостей с Запада.

Николай припомнил один из своих разговоров с Меншиковым. «Я был как-то в Симбирске, в Дворянском собрании, — сказал он тогда Меншикову, — и представь: там оказалось из дворян, меня встречавших, восемнадцать человек выше меня ростом! Сразу было видно, что попал я в черноземную губернию... Но почему-то, — я, конечно, судил по одному внешнему виду, — они не показались мне умными, нет... Они стояли браво, как в строю, но глядели сущими дураками...»

Людей по-настоящему талантливых, а не только ревностно исполнительных, не было около него, — это видел Николай к концу двадцать девятого года царения, — это очень остро чувствовал он вот теперь, когда приближался вечер дождливого сентябрьского дня.

Того же Меншикова он спросил, когда думал, кем заменить светлейшего князя Чернышева:

— Как ты находишь князя Долгорукова? Я хотел бы видеть его у себя военным министром.

И Меншиков ответил:

— Долгоруков пороку не выдумает, ваше величество, стало быть, как по мерке скроен — военный министр!

Однако и сам Меншиков доказал своими действиями на Алме, что ему тоже не под силу выдумать порох, хотя он был и прав в глазах Николая тем, что еще месяца за два до высадки союзников просил подкрепления, думая, — как оказалось совершенно верно, — что

союзники непременно нахлынут в Крым со стороны Евпатории, Долгоруков же поддерживал царя в мысли, что если десант и будет, то где-нибудь на береговой линии Кавказа.

Подкреплений просили и наместник Кавказа Воронцов, и наказной атаман донского войска Хомутов, и даже Паскевич, опасавшийся австрийцев... Нельзя было сразу стать одинаково сильным во всех пограничных пунктах...

Год назад из Севастополя Воронцову перевезли 13-ю дивизию, и она оказалась как нельзя нужнее на Кавказе, и благодаря этому одержали свои победы и Андронников и Бебутов... Если бы вовремя удалось отправить в Крым сильные подкрепления из армии Горчакова!

Николай представил себе, как ликует теперь этот ненавистный ему узурпатор французского трона, этот наглец, при одном воспоминании о котором у него тесно сжимались челюсти и кулаки и начинало гореть лицо.

Королеву Викторию он помнил такую, какою видел ее десять лет назад на параде в Виндзоре, когда предлагал ей свою помощь войсками: с очень свежим длинным, северным лицом, несколько излишне чопорным, пожалуй. Впрочем, могло быть и так, что мало улыбалась она потому, что улыбка к ней как-то совсем не шла (бывают такие женщины).

Ей он не мог простить того, что она была в оживленной переписке с узурпатором и наглецом Наполеоном III, ездила в Париж, присутствовала на смотрах войск, отправлявшихся из Франции в Константинополь, — вообще гораздо более рьяно относилась к войне с ним, Николаем, чем это могла бы делать монархиня конституционного государства.

А маленького, старенького, слабоголосого лорда Джона Росселя он положительно готов был бы схватить и выбросить за окно в парк, вспоминая речь его в парламенте, направленную против него, Николая, и такую неслыханную, дерзостно резкую.

Когда во время первой в его царствование русско-турецкой войны сдался турецкой эскадре одинокий и расстрелянный небольшой русский фрегат «Рафаил», он, Николай, отдал приказ при захвате корабля у турок обратно немедленно его сжечь, чтобы смыть этим

позорное пятно, наложенное его сдачей на весь Черноморский флот, и был особенно рад, что приказ неожиданно удалось выполнить Нахимову во время Синопского боя в точности: вошедший в состав турецкого флота и переименованный конечно, бывший «Рафаил» действительно сгорел от снаряда, попавшего в его скрыт-камеру, — загорелся, взорвался, перестал быть.

Но вот в эту войну сдался весь уцелевший от истребления гарнизон маленькой крепости Бомарзунд, на Аландских островах в Балтийском море, всего около полутора тысяч человек, и у него не находилось уже гневных слов для того, чтобы заклеить этот позор.

Несчастный гарнизон буквально расстреливался, как на месте казни, из огромных орудий стоявшего вдали союзного флота, для которого стрельба эта была как бы учебной стрельбой. Из небольших крепостных мортир и пушек крепость не могла нанести ни малейшего вреда неприятельским судам, так как ядра далеко не долетали до них. Однако вот теперь, может быть, в подобном же положении находится уже не какой-то ничтожный Бомарзунд, а оплот всего юга России — Севастополь, атакованный одновременно с моря и с суши.

Представив это, Николай вздрогнул, отвернулся от окна и просительно, и неотрывно, и даже растерянно (в своем кабинете и в одиночестве это можно было) начал глядеть на образ спасителя над своей кроватью.

Это так часто случалось с самодержцами прошлых веков, когда изнемогали они в борьбе с другими такими же самодержцами. Тогда они требовали, просили, умоляли, наконец, чтобы самодержец всех самодержцев земли им безотлагательно помог.

Разговор со спасителем был хотя и безмолвен, но многозначителен для Николая. Царь взял после этого новый лист бумаги и новое гусиное перо и, усевшись в кресло, написал не отрываясь и без клякс: «Любезный Меншиков!

Буди воля божия. Ты и твои подчиненные исполнили долг свой, как смогли; больны неудачи, но еще большее потеря. Будем надеяться на милость божию, и не терять надежд на светлые дни.

Да благословит тебя господь и все войска. Скажи им, что я по-прежнему на них надеюсь и уверен, что скоро мне вновь докажут, что

упование мое не напрасно. Пошли мой поклон и благословение Корнилову и нашим храбрым морякам; их положение меня крайне озабочивает. Бог милостив, унывать мы не должны. Обнимаю.

Николай ».

А как раз в то время, когда он писал это письмо с надеждами на божью помощь, в лагерь Меншикова, верстах в пяти от Бахчисарая, явился священник, посланный херсонским архиепископом Иннокентием.

Иннокентий, прибывший из Одессы в Симферополь, просил разрешения князя привезти в его лагерь явленную икону Каоперовской божией матери, пронести ее с молебнами по полкам, а затем приехать с нею в Севастополь.

Хмуρο выслушав посланца Иннокентия, сказал светлейший:

— Передайте его высокопреосвященству, что я боюсь скомпрометировать его икону, так как она может попасть в плен к тем, которые в нее совсем не верят... Так вот, опасаясь, чтобы этого не случилось, я прошу передать, что его высокопреосвященству совсем незачем приезжать с иконой на бивуак, а тем более везти ее в Севастополь... Прощайте!

Иннокентий стороною слышал о Меншикове, как о тайном безбожнике, но такого весьма откровенного мнения его о «пользе» для военных надобностей «явленных» икон он не ожидал и тут же написал и отправил в Петербург красноречиво, как всегда, составленный донос на командующего православным воинством, которому вручена свыше защита Крыма от неверных, защита креста от полумесяца.

II

За обедом в этот день были два младших сына Николая — Михаил и Николай, юноши двадцати двух и двадцати трех лет: один — артиллерист, другой — военный инженер, и приехавшая из Петербурга Елена Павловна, вдова великого князя Михаила Павловича.

Скромно сидела за столом и фрейлина императрицы Нелидова, некрасивая и уже немолодая, давняя фаворитка Николая, выполнявшая при нем обязанности его жены, отправившейся лечиться в Италию, в Ниццу.

На императрицу Александру Федоровну, сестру прусского короля Фридриха-Вильгельма IV, так подействовал страх, пережитый ею во время восстания декабристов, что вполне оправиться она потом так и не могла. С годами здоровье ее становилось все хуже и хуже, и она часто ездила по заграничным курортам, заменяя один климат другим, одни целебные воды другими и укрепляя этим состояние пользовавших ее врачей и владельцев курортных отелей, но не свое здоровье.

Столовая гатчинского дворца была необширная и всю ее наполнял возбужденный голос Елены Павловны. Кокетливо кутая открытую высокую шею в пушистое меховое боа, она говорила о том, что вместе с английской армией в Крым поехало много сестер милосердия из высшего общества и что, конечно, теперь там, на кровавом поле сражения, они стяжали себе славу, которую могли бы стяжать и представительницы русского высшего общества, если бы разрешено было устроить общину русских сестер милосердия.

Она говорила по-французски, как это было принято во дворце Николая, хотя война велась главным образом с французами и они преобладали численно в десантной армии, в Крыму, а русский язык Елена Павловна знала очень неплохо.

Мысль о кипучей деятельности по устройству этой первой общины сестер в России, видимо, очень сильно занимала невестку Николая, и он не без любопытства глядел на ее раскрасневшееся полное лицо, на шевелящиеся губы, на отливающие бронзовым блеском волосы и на взволнованные, обращенные к нему глаза, а длинные белые пальцы ее холеных рук всегда ему нравились, и она знала это, и все время, хотя в этом не было никакой нужды, поправляла то правой, то левой рукой боа на шее.

Сам же Николай во все время ее как будто заранее подготовленной, такой убежденной и бесперебойной речи думал о том, удержится Севастополь или не удержится до прихода к нему четвертого корпуса. Красивые длинные белые пальцы безостановочно двигались от стола к пушистому боа и обратно, и, представив себе рядом с этими пальцами пухлые губы такого же юного, как его сын Михаил, мичмана или корнета, Николай отозвался, наконец:

— В общину ты думаешь принять женщин не моложе, конечно, сорока пяти лет, не правда ли?

— Разве бывают светские женщины сорока пяти лет? — Елена Павловна притворно изумленно поглядела на него, очень высоко подняв брови. — Нет, нет, они никогда не доживают до этого печального возраста!

Но Николай не склонен был отвечать шуткой на шутку в этот вечер; он сказал без малейшей тени улыбки:

— Во вдовьих домах много старух, и они только сплетничают друг на друга и раскладывают пасьянсы. Вот из них ты могла бы набрать себе сестер в общину...

— У меня есть и такой проект! — живо подхватила Елена Павловна. — И я даже знаю для них, для этих старух, очень хорошее название: «сердобольные вдовы», — старательно выговорила она по-русски. — Для них, я думаю, вполне была бы прилична форма, как в русских монастырях: черные платья и черные платки... не правда ли? А для сестер милосердия, я думаю, лучше всего коричневые платья, — они немаркие, — и белые глаженные косынки, накрахмаленные, конечно, — так будет изящнее. А на шее — золотой крест.

— Золотой Георгий? — Николай круглыми глазами удивленно поглядел на нее.

— Нет, нет, моя мысль такая: золотой крест, длинный, как у священников, и на аннинской красной ленте. Вот моя мысль!

Елена Павловна даже показала правой рукой на левой ладони, какой именно длины должен быть, по ее мнению, крест на шее русской сестры милосердия.

Но, заметив, что Николай глядит на нее непонимающе неподвижно, она поспешила объяснить:

— Община сестер, по моей мысли, должна будет называться «Крестовоздвиженская», — по складам, как заучивала, выговорила она это длинное русское слово. — Нужно, чтобы в самом названии было «крест», какой они на себя возлагают, чтобы быть там, в этом аду, где пули, ядра, ракеты, и делать перевязки раненым.

— Делать перевязки?.. Но ведь для этого надо уметь их делать, — возразил Николай. — И не падать в обморок от одного вида тяжелой

раны, как это принято у светских дам.

— О, конечно, они будут учиться этому!

— Где учиться?.. И сколько времени учиться?

— Я думаю, им позволят ходить для этого в хирургическую больницу, присутствовать при операциях...

— Убегут домой с первой же операции! — Николай презрительно повел головою, но добавил: — Попробуй обратиться с этой затеей к Долгорукову. Может быть, он и разрешит ее.

Елена Павловна знала, что если Николай отсылает к кому-либо из министров, это значит, что сам он ничего не имеет против, — и она неподдельно просияла, и даже бронзовый отлив ее волос стал как-то ярче.

Оба очень рослые, хотя и не такие чрезмерно высокие, как отец, великие князья Михаил и Николай тоже, как те светские дамы, которым захотелось надеть на себя коричневые платья, белые косынки и золотые кресты наружу, высказали отцу желание отправиться на театр военных действий.

Заговорил об этом Михаил, а Николай только поддержал его, и ожидающе оба глядели на отца, который медлил с ответом: он прежде всего не представлял, где именно вот теперь, в данную минуту, мог находиться этот театр военных действий. Разве не могло случиться, что, навалившись на слабые силы Меншикова, союзные армии на его плечах вошли уже в Севастополь?

Поэтому намеренно не сразу отозвался, попеременно глядя на сыновей, точно мысленно прощаясь с ними:

— Поездка на театр военных действий, конечно, может вам принести много пользы... Ты, — обратился он к Михаилу, — со временем должен будешь стать во главе артиллерийского ведомства. А ты, — он кивнул подбородком в сторону Николая, — во главе инженерного. Вам обоим надо знать, что введено нового у них, как идет дело у нас... Я не против вашей поездки к Горчакову, в Бессарабию.

— К Горчакову? — разочарованно протянули оба сразу. — А какие же военные действия возможны у Горчакова?

— Только этого и не хватало, чтобы еще и Горчаков открыл военные действия, — зло отозвался Николай. — Слава богу, у него пока

спокойно, и вы можете присмотреться там на месте, как делается война. Воевать хорошо можно только тогда, когда война подготовлена хорошо.

— А разве Горчаков хорошо подготовил войну? — улыбнулся Михаил.

— Может быть, он умеет хорошо подготовить войну, но воюет, как известно, плохо, — поддержал младшего брата старший.

— Но зато он, кажется, единственный порядочный человек на всю Южную армию! — повысил голос Николай, но тут же отошел, добавив уже гораздо тише: — Я напишу ему, что вы хотите поехать к нему в действующую армию.

— А в Крым ехать сейчас даже и опасно, — заговорила возбужденно Елена Павловна, — потому что... неизвестно ведь, что там такое делается теперь.

— Прибыл курьер от Меншикова, привез донесение, что... десантной армии оказано сопротивление, очень чувствительное для союзников, — явно выбирая выражения, сказал Николай.

— Ах, вот как! — Елена Павловна радостно сложила ладони, как для аплодисментов. — Это очень утешительно!.. И что же теперь Меншиков?

— Будет защищать Севастополь с суши, пока подоспеет четвертый корпус от Горчакова... А там милые гости должны будут убраться восвояси.

Николай говорил это не столько для Елены Павловны или своих сыновей, сколько для себя самого: хотелось звуками своего спокойного, уверенного голоса убедить себя, что именно так и будет и что шагающего теперь по степи суворовскими маршами четвертого корпуса достаточно для того, чтобы десант союзников рассеялся, как мираж.

— Вот они, истинные известия из Севастополя! — Елена Павловна блеснула глазами, сжимая в кулаки красивые руки. — А разные негодные люди в Петербурге уверяют, что Севастополь уже взят не то вчера, не то два дня назад!

— Ка-ак так взят Севастополь? — Николай поднял голову и плечи. — Кто-о смеет распускать такие подлые слухи?

Елена Павловна всплеснула руками:

— Невозможно! Это невозможная низость! Но как только появится в «Северной пчеле» официальное сообщение, все эти слухи исчезнут, конечно.

— Они не должны возникать, — что там исчезнут! — крикнул, уже не сдерживаясь, Николай. — За распускание подобных слухов — в Сибирь подлецов! — перешел он на русский язык, как более сильный и подходящий к моменту. — Это — дело столичной полиции брать за шиворот всякого, кто только повторяет подлейший этот слух!.. Войска Меншикова отступили в полном порядке!.. Потери наши ничтожны! Укрепления возведены! Орудия везде поставлены. И пусть-ка сунутся эти господа к Севастополю! Им устроят такой салют, что они едва ли унесут ноги! Да, они не унесут ног: Севастополь будет для них могилой!.. Могилой, да!

Он был бледен от возбуждения. Резко отставив стул, он поднялся и выпрямился, как в строю. Все встали вслед за ним, хотя обед еще не был окончен. Даже кроткая Нелидова осуждающе глядела на излишне болтливую Елену Павловну.

Император ушел к себе в кабинет, откуда тут же распорядился послать за князем Долгоруковым и петербургским генерал-губернатором.

III

Было уже поздно, когда отпустил Николай спешно прибывшего Долгорукова. Он все пытался сквозь осторожные официальные слова военного министра добраться до его мыслей там, в глубине души, о положении русского дела в Крыму, но Долгоруков умел хорошо владеть собою и говорил только то, что могло ослабить тревогу царя, а не усилить.

По его словам, слухи о падении Севастополя до него не дошли; если же их кто-нибудь в Петербурге придумывает и распускает, то это скорее всего французы-куаферы или француженки, содержащие великосветские ателье мод.

Доводы Долгорукова относительно того, что скорее, чем ехал курьер Меншикова, штабс-ротмистр Грейг, никто бы доехать из Севастополя до Петербурга не мог, электрического же телеграфа в южном направлении не существует, — конечно, являлись вескими для царя,

но он знал эти доводы и сам и десятки раз приводил их самому себе. Однако он не забывал и того, что стоустая молва, обходя почтовые тракты, способна лететь гораздо быстрее всех курьеров, а главное — были налицо все основания для такой молвы. Привыкший только отдавать приказания, а не выполнять чужую волю, самодержавный монарх России упрощал все расчеты, связанные с передвижением армий: в его мозгу они двигались неудержимо быстро, — просто для них даже и не существовало никаких препятствий. Это относилось прежде всего к армиям союзников, победителей на Алме, так как английские и французские пехотинцы были гораздо легче оснащены, чем русские, — значит, способны к более быстрым маршам.

Известию, привезенному Грейгом, — будто союзники не преследовали отступающие русские полки, — он не то чтобы не верил, но это просто не укладывалось в порядок его мыслей: раз одержан успех, его необходимо развивать без промедления, — так учила тактика; а если Грейгу не встретились союзные войска на дороге к Симферополю, то потому, конечно, что они шли морским берегом, если даже не перевозились на судах, что было бы вполне разумно с их стороны.

Прямолинейный ум Николая предполагал такую же прямолинейность и у Раглана и Сент-Арно.

Между тем в прямолинейность заявлений заграничных газет о том, что союзники направляют удар на Севастополь, он не верил, считая, что это только военная хитрость — дать газетам заведомо вздорный план войны, чтобы усыпить его внимание на Кавказе, который, несомненно, станет театром военных действий: как же можно не поднять восстания горцев, у которых есть такой вождь, как Шамиль? Как же можно не усилить мощным десантом турок около Батума, зная, что Черноморский флот заперт в Севастопольский бухте?

От себя самого Николай не мог скрыть, что его обошли, перехитрили, одурачили; что если бы он дал больше веры записке Меншикова, посланной ему еще в конце июня, и подкрепил бы его хотя бы корпусом, Севастополь был бы в безопасности, а теперь... все говорило за то, что слухи, дошедшие до болтливой Елены Павловны, может быть, и вполне правдивы.

Что Севастополь почти не укреплялся с Южной стороны, Николай

знал; в то, что его могли укрепить хорошо за несколько дней, он, когда-то занимавшийся саперным делом, не верил. Сокрушительный штурм армии союзников и позор падения твердыни и оплота всего юга России стал представляться ему все более и более возможным, когда он остался после полуночи один в своем кабинете.

Вплоть до последнего времени Николай, хотя и оставался незыблемо религиозен, не допускал, чтобы обедни в дворцовой церкви тянулись дольше часа, почему не любил и так называемых «концертов», сложных по партитуре, и выступлений солистов, а допускал только простое обиходное пение: он ценил свое рабочее время дороже длинных и витиеватых песнопений, — у него был практический ум. Ясность европейской политики, которую главным образом сам же он и делал, укрепляла его в том мнении, что все, что он делает, безошибочно хорошо: его бог (русский бог) стоял перед ним с благожелательным лицом.

Но вот теперь очень остро и резко почувствовал он, что бог, самодержец всех самодержцев земли, отвернул от него лицо.

Во дворце кругом все было тихо; за окнами кабинета слабо шуршал однообразно при полном безветрии падавший дождь.

Перед иконой спасителя старый камер-лакей Никита Иваныч по приказу Николая зажег восковую свечу и ушел спать.

Икона висела над изголовьем походной кровати. Николай отодвинул кровать, стоял и долго молча смотрел на икону глаза в глаза. Наконец, огромный, но усталый от двух почти бессонных перед этим ночей, он медленно опустился на колени, истово крестился длинной рукой и склонял голову, касаясь ковра блестящим, облысевшим лбом.

Он не шептал при этом никаких церковью сочиненных молитв, ведь в этих молитвах ничего не говорилось о Севастополе; но он молился долго до полной усталости, которая привела за собою сон.

Так и заснул он, стоя на коленях, прислонясь плечом к походной кровати и свесив голову. Свеча, подтаяв и наклонясь, капала на правый генеральский погон его мундира...

Он проснулся только тогда, когда повернул во сне голову направо и горячая капля расплавленного воска упала на его голое темя.

Глава пятая. Дни ликований

I

Человек мечтателен по натуре, — его мысль быстра. Он недоволен слишком медленным, хотя и плавным, с учетом всех решительно причин и предпосылок, течением мировых событий. Он спешит. Ему так иногда хочется ускорить эти события, что он готов даже сам выдумать их и в свою же выдумку поверить.

Когда тот же самый, волчком завертевшийся по Европе слух о взятии Севастополя попал в парижские газеты (вечерние газеты за 1 октября нового стиля), ему сразу поверил весь Париж. И как было не поверить после только что опубликованных подробностей полного и решительного поражения армии Меншикова на реке Алме благодаря искусству покойного маршала Сент-Арно?

Если Сент-Арно и умер на своем славном посту, то ведь замещал его теперь молодой, полный энергии и отваги генерал Канробер, который, конечно, как волк на свою добычу, бросился на этот Севастополь и взял его.

На другой день в утренних выпусках газет появились всеми ожидаемые подробности этого славного дела. С большой осведомленностью газеты, , и другие сообщали своим читателям, когда и где последовательно, в нескольких сражениях была совершенно уничтожена армия Меншикова, уцелевшая от разгрома на Алме; как затем приступлено было к бомбардировке Севастополя, после которой блестяще проведен был штурм. Флот, стоявший в бухте, истреблен весь, без остатка. Сдача гарнизона была безусловной.

Конечно, нужно было все-таки указать и источник этих ошеломляющих известий. Газеты ссылались на татарина, приехавшего в Константинополь из Крыма. Уже в самом слове «татарин» была та самая экзотичность, которая необходима для достоверности, раз события совершаются в такой стране, как Россия. И в этот день самым популярным словом в Париже было слово «татарин».

Улицы были оживлены необычайно: как же можно было усидеть дома, раз Севастополь взят? Газеты дошли даже до того, что патетически

восклицали: «Наконец-то наши несчастья 1812 года в этой стране отомщены молниеносно быстро и блестяще». Радостно заволновались кварталы предместий; ликование перекинулось вместе с листами парижских газет в провинцию. Префекты городов печатали и приказывали наклеивать на стены прокламации о бурном натиске войск императора Наполеона III на твердыню императора Николая и об их решительном успехе, превзошедшем все ожидания.

С барабанным боем, торжественно объявлялись депеши газет гарнизонам провинциальных городов. Много, очень много было на вполне законном основании пьяных в этот день во всей Франции. Даже незнакомые люди сходились на улицах для того, чтобы поздравить друг друга с тем, какую геройскую армию имеет их страна — несомненно лучшая страна в мире.

В Сен-Клу, где ожидался император Наполеон, торжественно и лихо били барабанщики, исполняя приказание начальства. Жителям предложено было зажечь вечером иллюминационные плашки около своих домов. В парке сожжен был замысловатый фейерверк в ознаменование великого торжества французской армии над русскими казаками.

Наполеон III, мечтательный сын мечтательной Гортензии, так сразу и безоглядно уверовал в «татарина» с его бесподобными вестями из Крыма, что приказал было уже пушечными выстрелами с Инвалидного дома оповестить население Парижа о блистательной победе; и нигде во всем Париже не ждали с таким нетерпением этих заветных выстрелов, как на бирже, где расцвел мгновенно, чуть только появились «телеграфические депеши» в газетах, давно невиданный ажиотаж.

Побочный брат Наполеона, граф Морни, был на бирже совершенно в своей стихии. Дела его в первый день шли так же блестяще, как дела французской армии в Крыму. Но ему хотелось большего: не всякий же год берутся Севастополя и без остатка уничтожаются целые флоты.

Этот внешнею похотий на брата, только начисто плешивый делец, больше всех окружавших в тот день императора французов настаивал на том, что необходимо палить не только с Инвалидного дома, но и вообще изо всех пушек, какие имеются в Париже. Торжествовать так

торжествовать! Иначе зачем же пушки?

Едва удалось военному министру, маршалу Вальяну, убедить Наполеона, что палить из пушек будет не поздно и на другой день: не все же сразу. А тем временем придут подтверждения первоначальных депеш, а главное, интересующие всех подробности этого огромного исторического события и перечисление взятых у русских трофеев.

Седоусый маршал выказал такую явную осторожность, отнюдь ни одним словом при этом не опорочивая переданных из Константинополя депеш, напечатанных и в официальном «Мониторе», что Наполеон только презрительно улыбался, глядя на него: хорош маршал! Хорош военный министр, сомневающийся в подвигах своей армии!.. Однако приказ об открытии пальбы в этот день отменил.

II

Все-таки, если даже и не палили из пушек, никто не мог запретить кричать кое-кому на бирже, что пальба была, что они только что слышали на улице пушечные залпы. Даже самые сомнительные ценности, и те летели вверх при одних только криках о пальбе.

Страсти разгорелись так, что за общими криками биржевики и не могли бы расслышать никаких пушек не только с Инвалидного дома, но и возле здания

биржи.

Вечерние газеты хотя и не принесли никаких подробностей о победах в Крыму, но зато объявили плохими патриотами тех, кто вздумает усомниться в верности сообщенных известий. Биржевые агенты были гораздо более воинственны, чем полковники и генералы. Размахивая тросточками, как шпагами, они кричали: «Итак, с русским медведем мы покончили! Теперь на Рейн! Теперь очередь Пруссии!»

Граф Морни проявлял непостижимую энергию: он не обедал, не отдыхал, не ложился спать два дня. Если сорвалось дело с пушками, то ведь были газеты, барабаны, иллюминации, прокламации, был ипподром, наконец, на котором можно было в спешном порядке поставить на сцене «Взятие Севастополя».

Главное же было в акциях разных компаний, в акциях, продававшихся и покупавшихся в эти дни на бирже, некоронованным королем которой

был Мори.

Метц, Страсбург, Тулон — все вообще города, где были крупные гарнизоны, экстренно, но тем не менее пышно устраивали банкеты с разливным морем вина, речей и тостов за императора, маршалов, офицеров и героев-стрелков.

Начало октября — время сбора винограда винных сортов — и без того всегда было праздничным временем у французских крестьян; теперь же от этих изумительных побед в Крыму французская деревня совершенно обезумела.

Если бы Наполеон в эти дни вздумал посетить провинцию, как делал это в дни своего президентства, он был бы предметом самых восторженных оваций, он был бы кумиром толпы.

Но он не чувствовал уже никакой нужды в подобном проявлении народных чувств. Он был и без того упоен властью и еще больше вырос в собственных глазах благодаря необыкновенной, почти сказочной удаче предпринятого им не без тайных колебаний смелого шага на Востоке.

Однако и по ту сторону Ла-Манша появились в газетах те же самые константинопольские депеши со слов «татарина», приехавшего из Крыма. Но к чести англичан, только перед тем узнавших о больших потерях армии лорда Раглана «в бою у деревни Бурлюк», то есть на Алме, нужно сказать, что они отнесли к «татарину» с некоторым сомнением.

Ликование было, конечно, и в Лондоне, и усиленно начали работать биржи и банки Сити, но Кларендона, руководившего иностранной политикой, со всех сторон засыпали вопросами, есть ли подтверждение столь пышных депеш, и Кларендон только разводил руками и говорил, что ему ничего неизвестно.

Париж продолжал волноваться сам и волновать Лондон, Берлин, Вену — всю Европу.

Правда, на третий день запрещено уже было правительством отправлять из Парижа электрические депеши, если в них официально сообщалось о взятии Севастополя. Однако министерство внутренних дел ничего пока еще не имело против подобных сообщений, если

газеты ссылались на «частные источники».

В подобных же «частных источниках» не было недостатка, так как агенты графа Морни не менее деятельно работали в Константинополе, чем он в Париже.

И только утром 5 октября газеты решились, наконец, разобрать набор громоносных статей, заготовленных заранее в надежде на новые депеши уже не «татарина», а Канробера и Раглана.

Мистификацию нельзя уж было продолжать; тон газет стал весьма сконфуженный.

Разочарованные парижане в тот же день к вечеру каждого полицейского на улицах награждали презрительной кличкой «татарина», за что многие поплатились арестами.

Известный комический актер Грассо, зайдя вечером в этот день в совершенно переполненное кафе, сказал во всеуслышание: «Кажется, найти здесь место за столиком потруднее будет, чем взять Севастополь!» — и за это был немедленно отведен в полицию.

Сам Наполеон был ужасно рассержен тем, что стал жертвой доверия к совершенно нелепой выдумке, и приказал строжайше расследовать это дело. А плешивый братец его мог, наконец, утереть трудовой пот и подсчитать миллионные барыши, которые доставила ему пока, в первые дни, севастопольская кампания своим «татаринном».

В Петербурге же иностранные газеты с константинопольскими депешами пришли в одно время с донесением Меншикова Николаю о том, что, совершив фланговый марш и обезопасив тем сообщение с тылом, он от Бахчисарая возвратился в Севастополь, на защиту которого стали в бастионы моряки рядом с пехотинцами, и что союзники, видимо, предпочли длительную осаду весьма рискованному штурму.

Сличение чисел показало, что и депеши со слов «татарина» и донесение Меншикова писаны в одно и то же время.

День получения тех и других известий — 27 сентября по старому стилю — сделался днем ликования теперь уже для сумрачно настроенного перед тем

Николая.

На радостях он написал Меншикову:

«Благодарю всех за усердие! Скажи нашим молодцам-морякам, что я на них надеюсь на суше, как на море. Никому не унывать! Надеяться на милосердие божие; помнить, что мы, русские, защищаем родимый край и веру нашу, и предаться с покорностью воле божией. Да хранит тебя и вас всех господь! Молитвы мои — за вас и наше правое дело, а душа моя и все мысли с вами. Душевно обнимаю.

Поклонись Горчакову и обними Корнилова.

Что наши раненые, каково им: как призрены, и где и как обезопасил ты их от бомб?»

Горчакову же, командующему Южной армией, он писал в тот же вечер:

«...Завтра благословлю в поход моих младших сыновей; думаю, что они к тебе явиться могут 3 или 5 октября. Будь им руководитель и сделай из них добрых, верных служивых, а за усердие их отвечаю. Не балуй их и говори им правду».

Глава шестая. Дни надежд

I

Войдя в синопскую бухту, суда Черноморского флота, не отвечая ни одним выстрелом на ожесточенную канонаду турок, прежде всего спустили якоря и стали прочно на отведенных им по диспозиции Нахимова местах.

Пловучие крепости сделались неподвижными крепостями и выдержали бой и уничтожили противника.

Когда Корнилов стал во главе обороны Севастополя, он остался прежним вице-адмиралом, только число подчиненных ему судов значительно выросло, и одни из них — старые — на привычных для глаза местах стояли в бухте, другие — новые, — получившие название бастионов, выстроились с другой стороны города, а моряки были одинаковы здесь и там.

Поставленный во главе обороны не приказом свыше, а доверием к его способностям со стороны старших по службе адмиралов и генералов, как Нахимов, Станюкович, Берх, Моллер, Корнилов в несколько дней

развернул все свои недюжинные силы.

Он рос у всех на глазах. Он хорошо знал все слабые места оборонительных линий и все ресурсы крепости, которые можно было бросить туда, и все возможные способы этой переброски.

Каждый из тех нескольких дней, которые Меншиков с армией провел на бивуаке под Бахчисараем, казался вице-адмиралу неумолимо коротким.

Он стремился бывать везде и видеть всех. Его речи солдатам и матросам, рывшим траншеи, устраивавшим блиндажи, устанавливающим орудия, были коротки, но выразительны, как знаменитая, попавшая в летопись речь Святослава. Он говорил, что отступить некуда: позади море, впереди неприятель, и что надо умереть с честью.

При этом бледное лицо горело таким экстазом, что даже солдаты, не только матросы, кричали «ура» и говорили: «Вот это командир так командир!»

Между тем хворосту для туров и фашин не было, земля же была сухая, хрящеватая, сыпучая, даже дерн, чтобы ее удержать на укреплениях, вырезать было негде. Какой-то озорной козел, принадлежавший попу с Корабельной слободки, и тот повадился расковыривать рогами насыпи, приготовленные близ Малахова кургана для защиты от бомб и ядер союзников, и действовал так успешно, что приводил начальство батареи не только в ярость, но и в отчаяние.

Амбразур для орудий выкладывали мешками с землей, отчетливо представляя себе, как они загорятся при первых же выстрелах, но больше не было ничего под руками. Счастливы были, когда удавалось докопаться до глины, тогда лепили щеки амбразур из глины.

Но орудия и снаряды к ним везли и везли из арсенала и с судов. Матросы-комендоры, принимая их, ласково поглаживали и похлопывали их по хоботам: свои! Брустверы бастионов — не те же ли были борты линейных кораблей и фрегатов?

Как на кораблях, матросы называли дежурство на бастионах «вахтой», часы — «склянками», канаты — «концами». Каждые полчаса вахтенный бил в колокол, как это делал на корабле, а боцманы свистками сзывали своих людей на обед, на работы.

Как на кораблях, вода для питья и на батареях хранилась в цистернах, железных ящиках однообразного размера, а глубокие блиндажи разве были не те же кубрики?

Князь Меншиков, адмирал по чину, начальник главного морского штаба по должности, назначенный царем в Крым на его защиту, никак не мог наладить хорошие отношения с черноморскими моряками. Не было уважения к нему, хотя он часто показывал, что знает морское дело; тем более не было ни с кем, даже из адмиралов, сколько-нибудь теплых отношений.

Он пробовал устраивать обеды и приглашал на них моряков приблизительно одних рангов, чтобы они держали себя непринужденно, но на таких обедах даже друзья, сидя рядом, имели вид тайных врагов, и признанные поклонники Бахуса только прикасались губами к бокалам, тут же отодвигая их.

От старших в чинах не отставали и младшие: капитан-лейтенанты, лейтенанты, мичманы. Они всячески высказывали свое презрение к тем, кого из флотских удостоил Меншиков взять к себе в адъютанты или ординарцы.

Когда Меншиков убедился в том, что неприязненного отношения к себе в Черноморском флоте он вытравить не может, он, не сдерживаясь, давал волю своему сарказму на смотрах; синопских героев, когда они вернулись, презрительно называл «желтыми рубашками», и мало того, что выдержал их три дня в карантине, — не пришел на праздник, устроенный для них городским управлением. Он сослался при этом на недужность, но все видели его в тот день вечером верхом на лошади, окруженного свитой адъютантов: вечер выдался тихий и теплый, и он вздумал проехаться по городу.

С матросами, выстроенными на палубах судов, когда он проезжал на катере или шлюпке, он даже и не здоровался, ссылаясь на свой тихий голос. Матросы звали его весьма единодушно «чертом».

Но если такие установились отношения во флоте у адмирала Меншикова, то тем более чужим казался он полкам кавалерийским и пехотным, солдаты которых даже и понять не могли, почему командующим войсками вдруг оказался этот длинный старик во флотской черной шинели и черной фуражке.

Корнилов же, свой среди матросов, сразу был признан и солдатами всех полков. Когда же лейтенант Стеценко привез ему добрую весть, что армия не только не покинула города на произвол врагов, но возвращается значительно усиленная отрядом генерала Хомутова, Корнилов так светился весь радостью, что зажег ею весь гарнизон, объезжая батареи с первой до последней.

И получилось как-то само собой, что будто не командующий всей обороной не только Севастополя, а и целого Крыма, шел принять это дело в свои руки, а просто ему, адмиралу Корнилову, прислана была большая сила на подмогу и с этой подмогой при таком командире, как Корнилов, не страшны уж никакие враги.

Между тем ему никогда не приходилось не только защищать, но и брать никаких крепостей, а Меншиков все-таки за четверть века до того взял крепость Анапу, руководил осадой Варны и гораздо лучше Корнилова знаком был с инженерными работами, удивляя этими своими знаниями даже Тотлебена.

Человек общепризнанно умный, Меншиков был и одним из образованнейших людей тогдашней России. Он не только имел богатейшую из частных библиотек, — он прочитал все свои книги, и багаж его знаний был громаден. Неизвестно, зачем вздумалось ему между прочим получить диплом ветеринарного врача (это было в молодости, за границей), и он получил его. Но медики из разговоров с ним выводили, что он прекрасно знаком с медициной, геологи принимали его за геолога, астрономы за астронома...

И, однако, человек столь разнообразных и обширных знаний не знал такой простой, казалось бы, вещи — умения владеть людьми. Он был слишком холоден для этого; обилие его знаний не оставляло в нем места для веры в людей. Он мог отдать приказ обдуманной и необходимый, но будто даже излишним считал внушить, как его выполнить; у него не было дара внушать.

И как раз того самого огня, которого не хватало Меншикову, чтобы стать вождем, в избытке было у Корнилова, и это чувствовали все, кто соприкасался так или иначе с ним, от генерала до рядового.

И когда светлейший вернулся в покинутый им на целую неделю Севастополь, то первый, кого он хотел видеть и с кем говорить, был

Корнилов.

II

Человек кабинетный и по натуре и в силу преклонных лет, Меншиков даже в походе носил на себе все наиболее нужное из своего кабинета: чернильницу, перья, карандаши, записные книжки разного назначения, справочники и свои записки, карты местности вокруг Севастополя, циркуль, лупу, двое карманных часов — расхожие и запасные, бинокль, а кроме того, имея в виду всякие случайности войны, он набивал свои карманы набором хирургических инструментов и всем, что требовалось для перевязки раны, сухарями и мятными лепешками, плоской фляжкой с коньяком или ромом и пропастью прочего груза, для которого на одном только жилете было у него шесть карманов; сверх жилета носил он камзол — тоже с шестью карманами, а сверх камзола — короткую шинель солдатского серого сукна, состоящую сверху донизу из одних карманов.

Это чрезмерное изобилие карманов прикрывалось в конце концов неким подобием плаща тоже из серого солдатского сукна, с рукавами, хлястиком сзади и капюшоном; сооружение это было недлинное — всего до колен, и в нем светлейший казался издали массивным.

Таким застал его Корнилов, вызванный им вечером 18 сентября на Северную сторону, в инженерный домик, облюбованный князем для ночевки после похода.

Корнилов вошел к нему радостный.

— Наконец-то! Теперь Севастополь спасен! — возбужденно заговорил он, едва успев поздороваться с князем.

— Почему вы так думаете? — Меншиков удивленно поглядел на него.

— Потому только, что вам хочется так именно думать?.. Мне, конечно, тоже хотелось бы так думать, Владимир Алексеевич, но, к сожалению, у меня нет никаких оснований для этого... Неприятель очень силен, мы же ужасно слабы... ужасно слабы!

— Мы, — севастопольский гарнизон то есть, — мы действительно слабы, Александр Сергеевич, — нас едва ли наберется всего-навсего пятнадцать тысяч... Так что, если союзники двинутся на нас тремя колоннами по пятнадцать тысяч, они нас сомнут, — это правда... Но

раз с нами будет вся армия...

— Армия не войдет в Севастополь, — спокойно перебил его князь.

— Как не войдет? — не понял Корнилов.

— Армия будет нужна для защиты Крыма, когда будет взят Севастополь.

Голос князя, и без того глухой и негромкий, теперь, от усталости видимо, показался Корнилову еще глуше; весь его старческий облик с темными, почти черными, дряблыми подглазьями был зловещий. Нервная судорога кривила его губы с левой стороны.

Несколько моментов Корнилов молчал пораженный, наконец проговорил сдавленно:

— Мы ждем штурма со дня на день, с часу на час, ваша светлость. Мы укрепились уже очень за эту неделю... Но у нас мало людей для рукопашного боя... Вся наша надежда была на армию!

— Весь Крым надеется на армию — не один Севастополь...

— А что же такое Крым без Севастополя? — почти вскрикнул Корнилов. — Разве можно дать погибнуть Севастополю, ваша светлость?

Меншиков повел головою.

— Моя армия его не спасет. Моя армия слишком слаба и численно мала.

— А десять тысяч подкрепления? Откуда же их взял лейтенант Стеценко?

— Десять тысяч?.. Да, мы их ждали, но пришло гораздо меньше... гораздо меньше... И то, что называется «на тебе, небоже, что нам негоже»... Никто ведь не хочет расстаться с хорошими частями. Горчаков писал, что послал двенадцатую дивизию, но когда она придет? К шапкам? Когда все с Севастополем будет кончено?

— Александр Сергеевич! Выделите нам хотя бы четыре пехотных полка полного состава, и Севастополь мы отстоим! — выкрикнул Корнилов, сделав энергичный выпад тощей рукой в сторону Балаклавы и Херсонеса. — Нет, вы этого не сделаете, конечно, чтобы армия была только почетным свидетелем гибели всех матросов, всех офицеров флота, всех судов, всех фортов, всего арсенала!.. Ведь не будет же армия с Инкерманских высот только наблюдать

хладнокровно пожар Севастополя, как Нерон пожар Рима!.. Наконец... простите мою горячность, ваша светлость, ведь вы теперь лично, а не я, то есть не генерал Моллер, будете стоять во главе обороны Севастополя!

— Напротив! Совсем напротив! — спокойно возразил Меншиков. — Армию я думаю дня через два отвести снова от Севастополя.

— Но ведь штурм может быть завтра или даже сегодня в ночь, если они достаточно изучили местность!

— Местность они изучили гораздо раньше, чем высадились в Крыму, — непроницаемо спокойно отозвался князь и вынул из одного кармана камзола аккуратно сложенную пухлую карту окрестностей Севастополя с французскими надписями на ней. — Полюбуйтесь, какая чистая работа!.. Я несколько раз обращался с письмами к Долгорукову, чтобы прислал мне подробную карту Крыма; и мне прислали, наконец, старой съемки, еще тридцать седьмого года, карту вам известную, — пять верст в дюйме, — и с целой кучей неточностей, а эта — верста в дюйме и очень точная, в чем я убеждался неоднократно на походе.

— Как же она к вам попала?

— Казаки обшаривали поле сражения на Алме, — нашли ее где-то там в брошенной сумке... Между прочим подобрали и несколько наших, тяжело раненных... Бросили те, мерзавцы, без всякой помощи... Потом на арбах перевезли их казаки в Бахчисарай.

— Хорошо еще, что не отрезали им голов турки!

— А у вас есть точные сведения, что штурм назначен на завтра? От кого именно получены они?

— Сведений никаких нет, но все разумные доводы говорят за это.

— Разумных доводов мало, очень мало! Разумные доводы говорили и за то, что десант в Крыму — вещь неразумная, а умнее был бы десант на Кавказе. Однако...

Меншиков сощурился и развел кистями рук.

— Однако они пропустили уже самый удобный для них момент, — подхватил Корнилов, — когда могли захватить и Северную и Севастополь!

— Армия висела у них на вороту, — вот что имели они в виду... И

теперь висеть будет... И этот вытяжной пластырь, прошу вас так думать, Владимир Алексеевич, гораздо полезнее приемов лекарства внутрь... Вы увидите, что они не рискнут на штурм!

— Днем, может быть, а ночью?

— Десятитысячному авангарду под командой Жабокритского я приказал как следует показаться им на Инкерманских высотах! В развернутом строю, чтобы занять как можно больше пространства! И даже, если позволит время, продефилировать два раза одними и теми же частями, чтобы мой авангард они там приняли за всю армию. Думаю, что демонстрация эта им кое-что внушила, и штурма в ближайшие дни не опасаясь.

— А в ближайшие ночи? — снова спросил Корнилов. — Ведь одна эта карта показывает, что местность кругом им известна, а несколько дней, пока армия им не мешала, они, конечно, отлично изучили ее в натуре, нашу местность... Мы с Истоминым думали на днях устроить учение на Малаховом, — примерный штурм, — чтобы определить точно, сколько штыков потребно будет для защиты этого участка обороны. Однако он думает и без подобного опыта, что надо вчетверо больше солдат и матросов, чем у него сейчас.

— Другими словами, вы хотели бы всю армию засадить за бастионы и чтобы Севастополь союзники окружили со всех сторон? — усмехнулся по-своему, длительной саркастической гримасой, Меншиков. — Нет, об этом давайте больше не говорить. Прошу показать мне вот здесь, на карте, откуда именно ждете вы ночного штурма.

Корнилов наклонился над картой, которую Меншиков тем временем осторожно развешивал на столе.

— Гм... Тут есть даже хутор Дергачева... и хутор Панютина, — изумился он. — Что же это? Они или производили съемку у нас под носом, или постарались для них какие-нибудь шпионы, наши подданные?

— Татары, конечно, — нахмурился Меншиков. — Я буду просить разрешения у государя очистить от татар западный Крым, иначе они поднимут восстание у нас в тылу.

— И мне кажется, Александр Сергеевич, — допустим — чего боже сохрани! — врагов овладеть Севастополем, восстание тогда

неизбежно. А пока... пока они расположились так, насколько мы могли выяснить: Панютин хутор занят французами; от хутора и к верховьям Камышевой бухты и Стрелецкой они расположились лагерем; туда, к этим бухтам, сегодня утром пароходы вели на буксире пятнадцать купеческих судов, больших, с низкой осадкой... Затем то и дело появляются на высотах их конные отряды в целях, разумеется, рекогносцировки, но близко, на пушечный выстрел, все-таки подъезжать не рискуют.

— А не могут ли они захватить Георгиевский пороховой погреб? — встревожился князь.

— Я это сделал, то есть приказал его очистить, и он очищен: из него успели вывезти все. Также и лес с делового двора перевезен в адмиралтейство, так как двор оказался вне оборонительной нашей линии. Затем введены в действие сигналы по всей линии, как то: «неприятель появился там-то», «имею нужду в подкреплении»...

— Кто же не имеет нужды в подкреплении? — буркнул Меншиков. — Англичане где и как стали?

— Получены сведения из Балаклавы, что они заняли Балаклаву, Кадык-Кой, Комары, — вообще всю окрестность Балаклавы и, по-видимому, хотят завести в бухту свой флот.

— Военный флот ведь нельзя же завести в бухту, — перебил князь.

— Передавали, будто даже трехдечный линейный корабль вели! Хотя у нас во флоте думают, что это какая-то басня.

— Странно! Мелкие суда — об этом не может быть спора: я так и предполагал, что тихая бухта эта будет служить убежищем для мелких судов во время равноденственных бурь, — но трехдечные линейные корабли чтобы вошли в такой узенький проход, как там, — это, правда, похоже на вымысел... Но допустим, допустим даже и это. Значит, этот район, — он обвел ногтем большого пальца, — угрожаем от французов, а этот — от англичан. Турки же, кажется, в большей части остались в Евпатории... Я такое их расположение предвидел. По каким же линиям и на какие именно пункты вы ждете ночных атак?

Корнилов пространно начал объяснять, то и дело прикасаясь к карте неочиненным концом карандаша. Меншиков слушал, глядя больше на его голову и мимо нее в окно, чем на карту, наконец сказал:

— Нет, я что-то совсем не верю в их ночные штурмы, Владимир Алексеевич! Без приличной такому шагу бомбардировки они не кинутся в подобный омут... Потому что ночной штурм — это тот же омут: можно вынырнуть, а можно и ко дну пойти. Они ведь знают, я думаю, что ночью будет исключительно штыковая работа, поэтому потери их во всяком случае будут огромные, а успех сомнителен.

— Вы придаете мне много бодрости этими вашими словами, Александр Сергеевич, но я надеюсь и на то, что вы не откажете все-таки дать еще и дивизию для поддержки матросов на бастионах, — почти умоляюще поглядел на князя Корнилов.

Меншиков недовольно отвернулся.

— Я думаю, что это совсем лишнее.

— Может быть, мы сделаем так, ваша светлость, — перешел на официальный тон Корнилов. — Вы прикажете собраться военному совету из начальников оборонительных участков; я зачитаю на нем свою вам докладную записку о положении дела, и тогда уж совет решит.

— Опять совет! — Князь сделал гримасу. — Дались вам советы!

— Однако, ваша светлость, если вы говорите, что снова уведете армию от Севастополя, для чего потребовали, чтобы все обозы были перевезены на Северную, чем мы были заняты весь день и что, наконец, закончили...

— Ну, хорошо, хорошо! Совет, военный совет, — презрительно перебил Меншиков. — Если вам так нравятся эти советы, приготовьте докладную записку, — что ж с вами делать!

— Я, ваша светлость, хочу только одного: чтобы уцелел Севастополь!

— Корнилов выпрямился. — В каком часу прикажете завтра собраться начальникам оборонительных участков и прочим начальствующим лицам?

— Я извещу вас об этом завтра утром.

Они простились холодно. Вернувшись к себе, Корнилов немедленно начал готовить докладную записку, но верный себе Меншиков не собрал на другой день военного совета, зато он прислал к вице-адмиралу одного из адъютантов с радостным сообщением, что выделяет на усиление гарнизона три полка 17-й пехотной дивизии:

Московский, Бородинский, Тарутинский, с батареями 17-й артиллерийской бригады и резервные батальоны — по одному от Волынского и Минского полков.

III

Еще, до прихода армии Меншикова к Севастополю Корнилов устроил на случай бомбардировки и штурма несколько перевязочных пунктов в городе и один на Корабельной слободке. В этот последний, с его разрешения, была зачислена в штат медицинского персонала первая русская сестра милосердия — матросская сирота Даша.

Корабельная слободка основалась в одно время с тем казенным Севастополем, который показывал Потемкин Екатерине в 1787 году. Корабельную слободку заселили корабельные плотники, которых было немало согнано сюда из Воронежской, Рязанской и других губерний, где привился и вырос этот промысел с легкой руки Петра.

Флот, представленный Екатерине в Севастопольской бухте, был уже вполне порядочный для начала: три линейных корабля, двенадцать фрегатов, двадцать пять более мелких судов.

И все это, так же как и деревянный дворец для Екатерины, строили обитатели Корабельной слободки.

Впоследствии слободка раздвинулась, чтобы вместить в себя отставных боцманов и матросов, которые занялись кто огородами, кто извозом, кто завел ялики: одни — для перевоза с одной пристани на другую, другие — для рыболовства.

Таким отставным матросом, кое-как оборудовавшим себе с женой убогую хатенку, был и отец Даши. Он умер за месяц до высадки союзников, мать Даши умерла раньше.

Даша выросла на воле. Плавала она, как дельфин. Иногда пропадала целыми днями на Черной речке; выдирая раков из нор. Гребла не хуже самого заправского гребца и ставила парус. Ее приятели были приходившие к отцу матросы.

И когда два батальона матросов, в пешем строю и с ружьями, пошли вместе с другими армейскими батальонами встречать англо-французов на Алме, Даша не могла усидеть дома.

Она слышала от отца и других бывалых матросов о маркитантках-

француженках, которые ездят на лошади с бочонком вина, и чуть где сражение — они там: подкрепят усталого стаканом вина, помогут раненому... В восемнадцатилетней голове Даши, только услышала она о том, что будет сражение, сразу возник этот план: собрать все, что можно продать, купить немудрую лошаденку и бочонок водки, а чтобы помочь раненым, набрать с собою чистых тряпок для перевязок... Попросят воды, — тогда взять еще и бочонок с водою; попросят есть, — взять хлеба и еще какой еды... Наконец, как можно появиться на сражении в женском платье? И не допустят и мало ли что может из этого выйти. И Даша решила переодеться мальчишкой-подростком, юнгой.

Перешла старую отцовскую бескозырку, — спрятала под нее косы; перешла на свой рост его матроску и шаровары; продала ялик и сети, кур, свинью и все, что можно было продать, — купила водовозку-клячу вместе с двуколкой и упряжью; бочку променяла на два бочонка; собрала, что задумала собрать, и двинулась на Бельбек, на Качу, к роковой Алме.

Через казачьи пикеты пробралась, лихо держась, как самый настоящий юнга, — увязалась в хвосте обоза, а когда обоз остался в Качинской долине, пользуясь сумерками добралась по дороге до войск как раз накануне сражения, всем, обращавшим на нее внимание по дороге, жалуясь энергично на свою клячу:

— Ну, не проклятая скотина, скажи! Была бы своя собственная, убил бы я ее давно, а то — барина, чтоб ее черт съел!

— А кто же твой барин такой? — спрашивали иные.

— Э-э, — лейтенант, барон Виллебрандт...

— Чего же он тебя сюда послал, лейтенант твой?

— Э-э, — так он же адъютант самого князя Меншикова.

У Меншикова действительно был адъютантом капитан-лейтенант барон Виллебрандт, — это она знала от матросов. Выдумка насчет адъютантской клячи ей много помогла. Двуколку свою она поставила в кустах, в тылу, и жадными глазами следила за полетом и разрывами неприятельских гранат, за передвижениями батальона, за пожарами в аулах, на Алме, за всем, что могла разглядеть издали в сплошном почти дыму порохом и пожарном.

Но вот повалили раненые в тыл, на перевязочные пункты, а иных несли на скрещенных ружьях, покрытых шинелями.

Тогда началась работа Даши.

— Сюда, сюда! — кричала она тем, кто шел ближе к ней, и зазывающе махала руками.

И водку из одного ее бочонка, и воду из другого раненые и санитары выпили очень скоро; разобрали и ломти хлеба и жареную рыбу, которую она привезла. Но у нее остался еще целый узел чистой ветоши, и она занялась перевязкой раненых.

Ей никогда не приходилось этого делать раньше; солдаты сами указывали ей, как надо бинтовать руки, ноги, шеи, головы. И только когда вышла последняя тряпка, Даша беспомощно оглянулась кругом. Сражение уже затихало. Не одни раненые, — шли в тыл, отступая, целые полки. Черные от порохового дыма, как негры, усталые, потные солдаты безнадежно махали руками, говоря о неприятеле:

— Его — сила! Теперича будет нас гнать, поколь до Севастополя не догонит... А там уж, само собой, наши ему дадут сдачи...

На Севастополь, который они вышли защищать, только и была надежда разбитых защитников.

Мышиного цвета кляча глядела презрительно и на своего нового хозяина с синими глазами и белым лицом (прежний был чернобородый грек) — хозяина, который угнал ее черт знает в какую даль и дичь, — и на подходивших и подносимых солдат и офицеров в крови, которые выпили всю воду из бочонка, так что ей не досталось ни капли, хотя она и ржала требовательно и тянулась к нему пересохшими губами.

— Ну, ты-ы, морская кавалерия! — прикрикнул на нее один усатый солдат в кивере, из-под которого катился на щеки пот, когда она ткнула его мордой в плечо, чтобы он догадался ее напоить.

Людам не до нее было; люди помогли мальчишке в матросской фуражке ее запрячь, чтобы везти двуколку с пустыми бочонками в обратный путь, а один из раненых посоветовал Даше:

— До Качи доедешь, — худобу свою все ж таки напой, а то подохнет.

Перевязывая раны небрежливо и всячески пряча поглубже свой ужас перед такими, никогда не виданными ею раньше жестокими увечьями человеческих тел, Даша однообразно, но с большой убедительностью

повторяла каждому:

— Ничего, заживет!.. Срастется, ничего... Затянет, кровь у тебя здоровая, — это мне видать.

И раненым становилось легче от одного певучего девичьего голоса юнги, и от его осторожных и ловких тонких рук, и от участливых синих глаз... А один с раздробленной осколками снаряда рукой, которому несмело забинтовала она руку полотнищем своего старого линялого розового платья с чуть видными голубыми цветочками, бормотал, покачивая головою:

— Это ж прямо ангела своо небесного нам бог послал!

Но этот раненый мог идти, — ноги у него были здоровые; а на свою двуколку, сбросив с нее бочонки, Даша усадила другого, тоже перевязанного ею, с перебитой ногою, и непоенная кляча, питавшаяся все время боя только карагачевыми и дубовыми ветками, тащилась в хвосте одного свернутого перевязочного пункта, как раз того самого, куда попал с оторванной рукой флигель-адъютант Сколков.

Даша видела свою армию в отступлении. Ей казалось, что теперь уже все пропало. И раненый, которого везла кляча, повторял то и дело:

— Теперь шабаш! Будь бы нога в исправности, ушел бы, а то — каюк... Вот-вот француз нагрянет — и крышка!..

Через Качу в сумерках переходили вброд. Кобыла долго пила, когда вошла в речку. У Даши выбилась коса из-под фуражки, и раненый спросил:

— Да ты же никак девка?

— Ну да, девка, — уже не скрывалась Даша.

— То-то оно и есть!.. А то я даве думаю: «Отколь у этого малого сердце взялось до людей приветное?» Мне и даве мстилось, что девка, да спросить у тебя робел через свою ногу...

Когда же утром добрались до Северной, кругом Даши все уже знали, что она — матросская сирота с Корабельной слободки, потому что узнали ее столпившиеся у перевозной пристани матросы одного из морских батальонов.

После этого дня Даша уже не хотела расставаться со своими ранеными, которых перевязывала она там, на Алме. Она продала кобылу и двуколку, явилась к начальству и просила, чтобы позволили

ей ходить за ранеными в госпитале.

Просьба эта показалась начальству очень несообразной, однако была передана самому Корнилову. Корнилов приказал привести ее к нему, — узнал от нее, что она — матросская сирота, вспомнил по фамилии ее отца и на каком корабле он служил, расспросил, что она делала на Алме во время боя, и не только разрешил ей ходить за ранеными, но даже обещал написать о ее подвиге в Петербург, военному министру.

Так и сказал: «О твоём подвиге напишу в Петербург...» А Даша даже и не догадалась, что сделала подвиг, да и самое слово это: «подвиг» — понимала смутно.

Так случилось, что как раз почти в то время, когда великая княгиня Елена Павловна решала томительно долго вопросы о форме для сестер милосердия из светских дам, Даша с Корабельной слободки уже вошла самочинно в историю как первая русская сестра, настоящая и подлинная сестра всей миллионной массы солдат и матросов.

IV

Как врачующие лейкоциты — по теории Мечникова — сбегаются путями артерий к тому месту тела, в которое вонзится заноза или какой бы то ни было посторонний режущий предмет, так стекались форсированными маршами на обывательских подводах и на своих конях пешие и конные отряды к Севастополю.

Из Феодосии от атамана донского войска Хомутова пришел Бутырский полк, четвертый полк 17-й дивизии, и Меншиков, очень довольный, что избавился от ненавистного ему генерала Кирьякова, передав три полка его дивизии в распоряжение Корнилова, немедленно отправил на защиту севастопольских бастионов и этот полк.

Но вслед за бутырцами в лагерь Меншикова на Бельбеке явилось два батальона пластунов, пришедших с Северного Кавказа.

Пластуны не понравились светлейшему уже тем, что не имели никакой военной выправки, шли вразвалку и не в ногу, штуцера несли поохотничьи — на ремне за спиной, одеты были по-азиатски: в чекмени с газырями, лохматые, облезлые рыжие папахи — кадушками, в постолы из коровьих, воловьих и конских шкур, шерстью наверх.

Когда батальоны эти проходили мимо встречавшего их дежурного по

лагерю генерала, был жаркий день, — пластуны же были в стареньких шинелишках поверх чекменей.

— Пускай-ка снимут шинели — жарко, — сказал генерал командиру первого батальона; на это начальник, почтительно, всей пятерней взяв под козырек, отозвался тем не менее очень твердо:

— Нияк не можно цего, ваше прэвосходытэльство!

— Это почему же именно «не можно»? — удивился генерал.

— А так, ваше прэвосходытэльство, — бо богацько е таких, шо зовсім без штанів!

Когда об этом доложено было Меншикову вместе с письменной просьбой командиров обоих батальонов об отпуске для их нижних чинов сукна, холста на подкладку, сапог и ниток, то светлейший, поглядев на пластунов издали, приказал отправить их к Корнилову и в сопроводительной бумаге просить его «включить пластунов в раздачу штанов».

При этом он добавил: «Прикажете объявить черноморцам особым предписанием, что за даруемую им из складов морского ведомства одежду никакого взыскания учинено не будет. Предписание это надо будет прочитать при собрании нижних чинов, ибо казачье начальство в состоянии воспользоваться этим, но только в свою пользу».

Потомки выселенных Екатериной с Днепра на Кубань запорожцев, соратников гетмана Сагайдачного, атамана Сирко, полковника Тараса Бульбы, пластуны имели такой неказистый вид, что в Севастополе солдаты пехотных полков смеялись над ними, толкая один другого.

— Смотри ты? Вот вояки какие до нас прибыли!

— Да это же те самые петрушки, какие на ярмонках в балаганах представляют!

— Ну да, какие через гребешки пищат и друг дружку за волосья тягают!

Но пластуны, рассыпанные в секреты впереди бастионов, очень скоро показали, как они могут, распластавшись на земле, по-кошачьи подползти к самым позициям противника, притаиться за камнями и пролежать незамеченными целый день, чтобы, сменившись ночью, доложить подробно начальству, сколько и каких именно орудий видели они у противника и сколько снарядов к ним заготовлено на

батареях, и как, выбиваясь из сил при подвозе тяжелых осадных мортир, падают и сдыхают справные кони, и как, видимо, не хватает для работы на позициях этих коней и люди на себе волокут длинные фашины и чувалы с землей, и щеки у людей сильно позападали, и как заметно работающие в траншеях люди сильно бедствуют водой.

Между тем союзники отвели воду от Севастополя в распоряжение своих войск, и гарнизону, как и оставшимся жителям, пришлось довольствоваться одними колодцами, в которых теперь, перед зимними дождями, вода была солоновата на вкус.

Жителей же, имевших средства и возможность уехать из осажденного города, оставалось уже мало. Задержавшиеся в первые дни осады семьи теперь, с приходом армии Меншикова, безудержно ринулись по свободной для проезда дороге на Симферополь. Все крупные магазины стояли запертые и пустые: купцы поспешили распродать свои товары по дешевке, лишь бы поскорее унести ноги. Зато появилось достаточно предприимчивых людей, которые с базара перебрались на более видные места, у которых страсть к легкой наживе окончательно победила страх возможной и напрасной смерти. Но были и такие семьи, которые могли бы уехать из обреченного города, но все-таки не уехали в силу смутных причин, не менее смутно выраженных в пословице: «В своем доме стены помогают».

Со «своим домом» — и это осталось в человеке, конечно, от очень давних времен — связано именно такое представление о безопасном месте, в которое можно спрятаться от бушующих около бед. Мудрость улиток и черепах внушила им таскать на себе свои дома, чтобы спрятаться в них при малейшей угрозе со стороны. «Мой дом — моя крепость», принято было говорить у англичан, обеспеченных законом от набегов полиции.

Семья капитана 2-го ранга в отставке Зарубина осталась в скромном, не похожем на крепость доме на тихой Малой Офицерской улице, отчасти по непреодолимой чисто кошачьей привязанности к месту, отчасти из боязни лишиться всего накопленного долгим трудом, отчасти из опасения, что на малую пенсию капитана не проживешь где-нибудь в другом городе на наемной квартире, но больше всего — в надежде на помощь России, которая неужели же и в самом деле не

отстоит Севастополя, раз появляются все новые и новые полки и спешат — идут и скоро уже придут — новые дивизии и корпуса!

Никому из семейства Зарубиных не было известно, что замышляют англо-французы, но все видели, как много воинских команд лихо, с песнями, барабанным боем, с оркестрами музыки, проходят по улицам; как везут с грохотом и гиканьем орудия, все гуще устанавливая их там, по редутам, люнетам, на бастионах оборонительной линии.

К пушечной пальбе уже привыкли, потому что не проходило дня, чтобы суда противника не завязывали перестрелки с фортами. Пальба эта тянулась обыкновенно с полчаса и кончалась ничем. Только один снаряд из дальнобойного орудия с небольшой неприятельской шкуны разорвался на одном из фортов и ранил тяжело двух артиллеристов... Но шкуна эта ушла и на другой день не появилась. Юный Виктор Зарубин горячо уверял мать, что шкуна и вообще не появится больше, что ей «здорово всыпали из наших дальнобойных орудий».

Раза два заходил Дебу, — теперь в унтер-офицерской форме, явный защитник Севастополя.

— Арсенал наш, — говорил он старику Зарубину, — кажется, совершенно неистощим! Оттуда все черпают-черпают без конца снаряды, лафеты, станки, орудия, дистанционные трубки, ядра, и прочее, и прочее... Надо отдать справедливость начальству: заготовило оно всего на порядочную войну! Союзникам придется довольно туго, — это теперь ясно.

— Ага! Вот видите!.. Да... вот! — капитан от этих слов начинал сиять и постукивать в пол своей палкой. — Отчалят!.. Я вам говорю: отчалят!.. Они отчалят!..

— Было бы очень хорошо, — лучше не надо и для нас и для них тоже. Они, конечно, могут заварить бойню, но чего именно этим могут достигнуть? Наскочит коса на камень!

— Наскочит, да!.. И пополам! По-полам! — одушевлялся капитан, приставляя свою палку к здоровому, неконтуженному колену и делая вид, что вот-вот сломает ее пополам.

Капитолине Петровне и Варе, правда, Дебу говорил несколько иначе.

— Каждую ночь ждут штурма, и это очень изнуряет солдат. Чуть что —

тревога. Встретились в темноте наши патрульные с патрулем другой части, приняли его за неприятельский, начали перестрелку, — сразу весь гарнизон поднялся на ноги: штурм! А днем выспаться некогда, — все люди работают до упаду. Это может кончиться тем, что, когда действительно начнется штурм, люди наши будут спать как убитые, и по их телам союзники в полчаса дойдут до Малой Офицерской... тут я закрываю глаза, чтобы не видеть картин ужаснейших! Напрасно вы не уехали, Капитолина Петровна, хотя я думаю, что вы уже собираетесь все-таки. Все бегут! Пока есть еще время, бегите-ка и вы!

— С одной стороны, вы правы, конечно: все бегут — значит, и нам надо: но, с другой стороны... — раздумчиво тянула Капитолина Петровна, глядя не на него, а на изогнутую ножку старого, еще екатерининской поры дивана.

Варя же, переплеснув по привычке тяжелую косу с плеча на плечо, отзывалась более решительно:

— Совсем не все бегут из Севастополя! Вот Елизавета Михайловна не уехала же в Симферополь... Даже еще и в сражении на Алме была, где вы не были!

Дебу знал Елизавету Михайловну Хлапоницу, соседку Зарубиных, жену батарейного командира, очень красивую и очень скромную, что редко бывает, молодую женщину, которая была для Вари предметом восхищения. Он знал, что если к нему Варя и равнодушна, то ценит в нем его ум, образованность, начитанность, пожалуй немного и то, что он пострадал за идеи: но Хлапоница, — ее счастливая внешность и весь ее внутренний мир, та теплота, с которой относилась она к шестнадцатилетней, восторженной, готовой верить каждому ее слову девушке, то сияние ее лучистых глаз, с каким она на нее смотрела, — Хлапоница представлялась ей солнцем, к которому радостно тянулась она, как молодое сильное деревце.

Хлапоница любила ездить верхом в светло-голубой амазонке, и Варя говорила уже ему как-то летом, что она, всегда спокойно сидящая на горячившемся под нею вороном с лысиной коне, точь-в-точь «Всадница» с картины знаменитого Брюллова. Но он не знал, что эта всадница отважилась на такую прогулку.

— Она, конечно, беспокоилась очень о своем Дмитрие Дмитриче, —

охотно рассказывала ему Варя. — Его батарея стояла там на каком-то фланге или центре, — одним словом, очень опасно. Мало ли что могло случиться! Могли даже и ранить. Вот она и помчалась. Разумеется, не одна же, и Дмитрий Дмитрич, — говорила, — очень удивился, когда ее там увидел, и все посылал домой... Как же, поедет она домой, когда она так его любит! Конечно, она там и осталась и все видела.

— Все видела, хотя и смотрела только на мужнину батарею? — вставил, улыбнувшись, Дебу.

Но Варю задела эта улыбка.

— А как же хотели бы вы? — Она вдруг раскраснелась. — Ради кого же она туда поехала, как не ради Дмитрия Дмитрича, да чтоб и на его батарею не смотрела? Вот еще!.. Конечно, она все время боялась: «А вдруг ранят!»

— Могли и убить, не только ранить, — постарался как мог равнодушнее отозваться на ее горячность Дебу. — Во время сражения иногда и убивают людей... даже менее порядочных, чем Дмитрий Дмитрич, а он — человек хороший, — поспешил добавить он, заметив ее изумленный и даже как будто недовольный взгляд.

— Ну, конечно, Дмитрий Дмитрич — очень хороший, — Варя вся засветилась. — Стала бы Елизавета Михайловна любить плохого!

— Он, конечно, уцелел, и они вернулись благополучно, конь о конь? — опросил он весело.

— Да, конечно. Она обратно ехала с его батареей!

— И сейчас уже она больше за него не боится?

— Ну, как же так — не боится! Конечно, очень боится, потому она отсюда никуда и не поехала. «Если убьют, говорит, так пусть уж и меня тоже».

— Она имеет большой успех среди офицерства, а среди генералов особенно, — сказал Дебу, наблюдая за выражением лица Вари. (Капитолина Петровна в это время, как всегда, хлопотала на кухне или в саду по хозяйству.)

— Но зато они не имеют у нее успеха! — Варя энергично качнула головой и переплеснула косу.

Это понравилось Дебу, но он продолжал, как будто не замечая:

— Я слышал даже, что вся ссора генерала Кирьякова с князем

Меншиковым началась из-за Хлапониной. Оба пустились за ней ухаживать, чуть только она появилась в Севастополе, и каждому из них показалось, что другой стоит у него поперек дороги. Ведь может же быть такое помрачение светлых умов!.. Недавно, говорят, Кирьяков выкинул такой фортель. Пил где-то в компании, за столом сидел генерал Бибилов, слепой и ограбленный: наши же солдаты во время отступления ограбили его имение на Бельбеке. Теперь перебрался сюда с женой, и жена все хлопочет, чтобы ей вернули убытки, а светлейший приказал дело ее бросить в корзину, ее же совсем не принимать... А Бибилов — участник Бородинского боя... А в дивизии Кирьякова как раз Бородинский полк. Поднимает Кирьяков бокал: «Предлагаю, господа, выпить за здоровье настоящего, подлинного бородинца, к великой скорби нашей лишенного зрения, старого ветеринара!»

— Ничего не поняла! Почему «ветеринара»? — Варя подняла тоненькие бровки.

— То-то и дело! Кое-кто за столом тоже не поняли и подсказывать пустились: «Ветерана!.. Ветерана!» Но наш Кирьяков еще отчетливее: «Ве-те-ри-на-ра!» — и сел. И сам же первый свой бокал выпил. А другие уж после догадались, что метил он совсем не в старца Бибилова, а в самого светлейшего, который и участник Бородинского боя, и ветеринар по диплому, и, по мнению Кирьякова, лишен зрения... Хотя ведь вот же Елизавету Михайловну разглядел, — значит, это просто клевета оскорбленного генеральского самолюбия.

— Мне можно рассказать это Елизавете Михайловне? — рассмеявшись, опросила Варя.

— Зачем же? Тем более что она это, наверное, и сама знает. Что-что, а такие вещи очень живо расходятся: на них большой спрос.

Маленькую Олю, которая застенчиво и врасстяжку называла его теперь «солдатом», очевидно, вкладывая в это слово самое растяжимое значение, от немного как будто снисходительного до вполне почтительного, как к своему защитнику от каких-то несчастий, которых все кругом нее ждали, Дебу тоже спрашивал:

— Ну, а ты как? Тебе не страшно?

И беловолосая Оля, оглядываясь на сестру и приближая пухлые

нетвердо еще очерченные губы к самому его уху, шептала доверчиво:
— Страшно!.. Очень бывает страшно!..

И от этого доверчивого детского шепота на ухо самому Дебу становилось страшно, что вот домчится сюда неприятельская бомба, и тут он вздрагивал, как от сильнейшего холодного ветра, резким движением головы отбрасывал то, что пыталось навязать воображение, отечески целовал ребенка в завиток волос на виске и бормотал:

— Ничего, ничего... Еще успеете уехать, пока подойдет самое страшное.

Команду юнкеров флота, которой ведал лейтенант Стеценко, уже распустили по приказу Корнилова, и Виктор Зарубин жил теперь дома, а не на корабле, но все его мысли были там, на рейде и фортах, охраняющих рейд.

Плечистый и плотный для своих пятнадцати лет, с открытым и упругим лицом, с привычкой самоуверенно вскидывать голову, когда он что-нибудь утверждал, и с тонкими и высокими, как у старшей сестры, бровями, Виктор подробно рассказывал Дебу, куда должны будут палить при ночном штурме какие суда:

— Пароходы «Крым», «Эльбрус» и «Владимир» будут громить Ушакову балку, а «Бессарабия», «Громоносец», «Одесса» — эти будут бить по той балке, какая идет мимо кладбища к Карантинной бухте... Ведь важны, конечно, балки... В балки они и напрутся, конечно, ночью, а тут их как раз и огреют как следует!

— Без порядочной бомбардировки они не пойдут на штурм, — замечал, любуясь им, Дебу.

— А что же такое бомбардировка? Они откроют, и мы откроем, — и прикроем!.. Они наткнутся, вот вы увидите!

И так лихо подбрасывал при этом голову пятнадцатилетний, что Дебу даже переставал замечать, как несколько смешно ломается у него голос.

— По нашим судам, должно быть, будут они калеными ядрами бить, чтобы вызвать пожары, — сказал он, но Виктор отозвался живо:

— Велика штука! Тоже невидаль — каленые ядра!.. Везде на судах стоят бочки с водою и шланги: чуть что, сейчас же зальют. А над

крюйт-камерами мокрые паруса навалены... Наконец, если даже, допустим, загорелось какое судно, так что потушить нельзя, — потопят его, только и всего!.. Пожар, конечно, опасен, потому что крюйт-камера может взорваться, — так разве же моряки до этого допустят!

— Я думаю, что и неприятельский флот праздным свидетелем не останется, — заметил Дебу. — А флот у них силен.

— Ого! Пускай-ка, пускай их флот сунется к нашим фортам — ему пропишут ижицу!.. У нас только один Константиновский слабоват, ну, это уж девятого числа натворили в суматохе: посбрасывали бомбические орудия в море!

— Я что-то такое слышал, да не верил, признаться. Неужели правда? — удивился Дебу.

— Конечно, правда!.. Тогда много кое-чего натворили. Что же, когда приказ был — ничего не оставлять неприятелю! «Ростислава» чуть не утопили, — насилу потом откачали воду.

— Как же так с Константиновским фортом? Должны же новые орудия поставить! — забеспокоился Дебу.

— Конечно, должны... Может, и поставили уже теперь. Форты без орудий не оставят. Корнилов и Нахимов не таковские!

И после этих весьма убежденных слов лихо вскидывается голова. Унтер-офицер Дебу видел, что перед ним настоящая военная косточка, которая ждет не дождется бомбардировки и штурма, и, уходя, он негодовал на «ветеринара», которому вверена забота о людях в явно уже для всех осажденном городе и который не догадается приказать просто выслать из него всех женщин, детей, инвалидов и таких воинственных подростков, как Витя Зарубин.

У

Расположив армию на Бельбекских высотах, Меншиков сказал своим адъютантам:

— Устраивайтесь здесь по-домашнему, господа. Нам здесь над флангом союзников придется висеть, кажется, долгонько. По крайней мере до тех пор, пока не подойдет двенадцатая дивизия. Скорого штурма я не ожидаю и вам не советую ждать.

И адъютанты принялись устраиваться.

Была выкопана канава, идущая прямоугольником. В канаву, если сесть на ее борт, можно было опустить ноги, а землю в середине принять за стол.

Адъютанты — их было человек пятнадцать — деятельно принялись натягивать над этим сооружением навес из хвороста и полотнищ палаток. Получалась обширная столовая — она же и главный штаб армии, — закурлыкал неугасимый ведерный самовар посередине прямоугольника на земле, наконец подвезли и установили столы для письменных работ и застрочили бойкие адъютантские перья.

Для самого Меншикова, как и для командира корпуса князя Петра Горчакова, который на бивуаке под Бахчисараем помещался под навесом кустов со связанными верхушками, натянули палатки. Начали даже думать о крупной разведке в сторону неприятельского лагеря, готовя для этого гусарские полки и бригаду пехоты.

Между тем Гектор новой Трои — Корнилов — все еще одержим был мыслью, что союзники накапливают при устьях балок, скрытых от наблюдений из Севастополя холмами, крупные силы для ночной атаки, и все неумоимо сновал от одного укрепления к другому, добавляя траншей, орудий и штыков.

Контр-адмиралу Истомину, ведавшему тем участком обороны, в который входил Малахов курган, он приказал устроить примерное учение — штурм его укреплений двойными силами, и учение это было проведено, а потом Корнилов торжествующе говорил Истомину:

— Владимир Иваныч, хорошо, что своевременно мы проделали это. Теперь я вижу, что ваш участок надо усилить целым полком! По крайней мере — полком, за неимением большего!

Против Малахова кургана расположен был хутор Дергачева, занятый отрядом союзников. В зрительную трубу Корнилов разглядел там, в ущелье, идущем от Южной бухты, девять больших осадных орудий и три мортиры.

— Осадные орудия, не правда ли? Вы видите? — обратился он весьма оживленно к Истомину. — Это отраднейший признак того, что они, кажется, готовятся к бомбардировке, а не к ночному штурму! В таком случае мы их вспрыснем! Прикажите открыть стрельбу из шестидесятивосьмифунтовых!

Дальнобойные бомбические орудия Малахова кургана и третьего бастиона открыли стрельбу.

— Удачно!.. Еще удачнее!.. Молодцы! — радостно вскрикивал Корнилов, наблюдая разрыв бомб.

Союзники не отвечали, так как орудия их только еще устанавливались; подвоз ими новых орудий был прекращен, но ночью, конечно, они могли беспрепятственно выполнить свои планы.

Корнилов немедленно дал знать Меншикову, что четвертая дистанция обороны, в центре которой был Малахов курган, требует подкрепления, — и к вечеру того же дня в распоряжение Истомина был прислан Бутырский полк.

Окрестности Севастополя изобиловали хуторами; хутора эти являлись отличным прикрытием для союзников.

Особенно досаден был один, очень благоустроенный, с длинной каменной стеною, расположенный на балаклавской дороге, между пятым бастионом и французским лагерем. В нем скопилось до двух батальонов французов. Корнилов отрядил для вылазки против них один флотский батальон с двумя пушками, с несколькими казаками и саперами, и вылазка закончилась успешно: хутор сожгли, каменную стену разметали, далеко отогнали два батальона французов и вернулись почти без потерь.

— И с такими молодцами князь проиграл сражение на Алме! — возбужденно говорил Корнилов в тот день вечером Нахимову, Истомину, вице-адмиралу Новосильскому, Тотлебену, которые, как всегда по вечерам, и в тот день сошлись к нему на квартиру для получения приказаний на завтрашний день.

Несмотря на то, что Тотлебен был всего только подполковником инженерных войск, — значит совсем еще недавно вместе с другими военными инженерами получил право на усы, кроме того и летами был гораздо моложе всех остальных на подобных собраниях, — к нему относились, как к равному, потому что все укрепления делались по его планам и под его очень придирчивым и строгим руководством, которому подчинялись все начальники дистанций обороны.

В этот вечер Корнилов получил от жены с курьером из Николаева письмо, к которому была приложена фотографическая

(дагерротипная, как тогда говорили) карточка его дочери Лизы, и он всем собравшимся показывал карточку, радостно говоря:

— Посмотрите-ка! Не правда ли, она обещает стать красавицей?

— Она и теперь красавица! — отзывались все, искренне любясь действительно милым и удачно переданным на карточке лицом девочки.

Корнилов положил снимок на стол перед собой и, часто взглядывая на него, заговорил, волнуясь:

— Я должен вас поздравить, господа, еще с одним очень важным результатом сегодняшней вылазки: замечено, что противник ведет работы, готовясь к основательной, долговременной осаде Севастополя! Значит, наши труды не пропали даром: они оценены им как должно. Он увидел, что добиться успехов крупным штурмом ему уже не удастся, что к его приему мы готовы, что мы уже не такие слабенькие, какими были дней десять назад, что нас уже не возьмешь даже и ночным штурмом. Князь готовит рекогносцировку в больших размерах на Инкерманские высоты, чтобы определить, насколько они основательно заняты союзниками. Вся регулярная кавалерия будет участвовать в этом деле... и пехоты несколько тысяч человек. Кавалерия — под командой генерала Рыжова. А с нашей стороны требуется поддержать эту рекогносцировку соответственно, — чем и как? Бомбардировкой и выдвинув пехотные части. Когда я получу от князя подробное распоряжение, я и передам его вам подробно, а теперь пока вот только это... Для успеха дела прошу не разглашать, а готовиться, как заведено, принимая в соображение все случайности. Одним словом, хотя атмосфера сгущается, но сгустить ее желаем мы сами, а не противник, — это очень большая разница, господа! Это показывает, что мы уже достаточно сильны, чтоб самим лезть в драку, а не ждать, соблаговолит ли это сделать Раглан с Канробером!.. С чем вас и поздравляю, господа!

И было ли это действительно от сознания своей силы или оттого, что перед глазами его лежал фотографический портрет его дочери, о которой все отзывались как о красавице, но Корнилов вдруг встал и торжественно протянул руку сначала Нахимову, сидевшему ближе всех к нему, потом Новосильскому, Истомину, Кирьякову, Тотлебену и

прочим, говоря при этом:

— Огромная тяжесть с плеч!.. Этот ночной штурм висел над нами, как кошмар! Теперь мы можем, наконец, успокоиться и передохнуть.

— Из рекогносцировки может развиться крупное сражение, — заметил Кирьяков, — а разве у нас хватит сил на такое сражение?

— По-видимому, подходит двенадцатая дивизия, — улыбаясь, ответил Корнилов. — Князь человек осторожный и рискованных шагов не сделает. Во всяком случае он покажет неприятелю, что армия его сильна и врага не боится. А наконец, даже если допустим, что сражение окажется безрезультатным, начнется только бомбардировка со стороны англо-французов... Только бомбардировка, как обычно при осаде крепостей, а это дело весьма затяжное, так как нам есть чем ответить, господа! К бомбардировке мы уже и теперь почти готовы, а еще через несколько дней мы будем неуязвимы... А там подойдет четвертый корпус, и это обстоятельство...

Тут Корнилов оглядел всех поочередно загоревшимся взглядом и закончил:

— Это обстоятельство, господа, или заставит их прибегнуть к обратной амбаркации, или, в худшем случае, задуматься поглубже, чем они думали, когда начинали с нами войну!

VI

В конце сентября дни все еще стояли жаркие и тихие, и если бы не ежедневная, хотя и короткая, перепалка между береговыми батареями и подходящими близко судами союзников, севастопольцы могли бы даже и позабыть на время, что где-то там, за высотами, окружающими город, неутомимо ткется крепкая паутина осадной войны.

На открытой веранде дома на Малой Офицерской, соседнего с домом Зарубиных, Елизавета Михайловна Хлапониная принимала гостя, приведенного ее мужем, тоже командира батареи, но не в 17-й артиллерийской бригаде, а на третьем бастионе, капитан-лейтенанта Лесли, жизнерадостного, веселого, лет тридцати двух человека, белокурого, высокого и с тем счастливым складом полных и приветливых губ, которые просто не умеют не улыбаться, что бы ни говорилось и ни совершалось кругом, и обладают еще более

счастливой особенностью вызывать ответные улыбки у окружающих. До начала войны в Крыму моряки обычно не сближались с пехотинцами, среди которых они, люди высшей касты военных, чувствовали себя не в своей тарелке, тем более что даже и интересы служебные у них были совершенно различные.

Но теперь они вышли на берег, теперь, на сухопутье, они стояли бок о бок с пехотой на бастионах, теперь они стали поневоле товарищами пехотных офицеров, из которых скоро нашлись и образованные и вполне воспитанные люди.

Так быстро, за два-три дня, коротко сблизился с Хлапониным Лесли и при первой возможности вырваться на час, на два с бастиона очутился у него в гостях.

Веранда была на втором этаже и выходила в небольшой сад. Хозяева дома, жившие в первом этаже, выехали в Симферополь. Никто не мешал говорить громко о том, что занимало всех: чем заняты вот теперь союзные армии и какие сюрпризы готовят им Корнилов и Меншиков.

— Я недавно шутики ради заглянул в журнал «Общепольное чтение» и нашел там статью большущего хозяйственного значения: «Искусственное разведение раков», — да, представьте себе, раков! — весь лучась, говорил, обращаясь к Елизавете Михайловне, Лесли.

— Что такое? Я не поняла, простите! Раков? — Елизавета Михайловна вопросительно поглядела и на него и на мужа одновременно.

— Где именно разводить раков? — любопытствовал Хлапонин. — Конечно, где-нибудь в прудах усадебных парков?

— В том-то и дело, что в речках, где они и без того водятся, но случается с ними, что они вымирают от каких-то там эпидемических болезней, и тогда эту милую живность рекомендуется разводить искусственно.

— Вот что! И как же именно?

— Ах, это очень запутанная история, и нужно было иметь много свободного времени, чтобы дочитать такую статью до конца. Но раки, знаете ли, куда уже ни шло, — я встречал на своем долгом веку немало любителей этого сорта пищи, а вот что касается ка-ва-ле-рии, то, знаете ли, — простите великодушно! — я бы, если бы моя власть,

совсем запретил бы разводить этот род войска!

— Вот вы к чему клонили! — добродушно рассмеялся Хлапонин. — Действительно, кавалерия так отличилась, что тебе, Лиза, стыдно уж теперь будет галопировать на Абреке... Конечно, вы с Абреком в этом деле не участвовали, но все-таки...

— Но все-таки, — подхватил Лесли, видя, что Хлапонин не закончит фразы, — наши гусары осрамялись исторически!.. Вы представьте себе, идут молодец к молодцу, кровь с молоком, что люди, что кони, один за другим два полка, саксенвеймарцы и лейхтенбергцы, в атаку на какой-то французский пост, где только что проснулись и еще мундиров, извините, не успели натянуть, — что же должно получиться в результате подобной атаки? Приятное воспоминание об этом посту у нас не совсем приятное у французов, — не так ли?

Хлапонина расширила прекрасные большие глаза.

— Я думаю!

— Все так думали! Даже и сам Меншиков, который затеял эту рекогносцировку и в подзорную трубу смотрел с почтительной дистанции... Однако получилось совсем иначе: хлопнула всего только какая-нибудь дюжина выстрелов вразброд, если бы хоть залп, как у нас учат теперь матросов встречать кавалерию, — нет, очевидцы говорят, всего несколько выстрелов, — вот саксенвеймарцы поворачивают назад и мчатся на лейхтенбергцев, кого-то давят при этом весьма чувствительно, кого-то насмерть, и вот вы себе представьте эту потрясающую картину: впереди сломя голову лейхтенбергцы, за ними Саксенвеймарский полк, лупят, красиво выражаясь, во все лопатки!

И, говоря о том, что его возмущало, Лесли, по обыкновению, улыбался этой своей мягкой, очень располагающей к нему всех улыбкой.

Дмитрий Дмитриевич Хлапонин был крепкий, полнокровный, очень спокойного вида человек. Такое спокойствие внешности свойственно обычно только тем, кто вполне уверен в себе, а если у него есть подчиненные, то и в них.

Он был всего на год старше лейтенанта, но казался старше лет на пять благодаря несколько разлатым темным усам, приспущенным бровям и начальственной складке лба над переносьем.

Он сказал жене:

— Я слышал даже, будто князь Меншиков так рассердился, что потом сам поскакал к Саксенвеймарскому полку и накричал на полковника Бутовича, что он его выгонит со службы... А Горчаков, вообрази, начал приводить ему резоны, что так неудобно, что у него будто и права на это нет...

— Почему нет? — удивилась Хлапоница.

— Потому что он пока только командующий армией, а не главнокомандующий, — ответил ей за Хлапоницу Лесли.

— А Бутович разве родственник князю Горчакову? — снова недоуменно спросила Елизавета Михайловна.

— Родственник или нет, аллах ведает, — но он числится его корпуса, значит — за него надобно заступиться. А что он повернул полк назад от первых же выстрелов, так это, видите ли, такая уж милая привычка у кавалерии. Мы, дескать, существуем для парадов, как украшение, а тут вдруг какие-то неучи вздумали нас под пули совать!.. Нет, решительно — это отживший вид войска! Я бы, если бы моя власть, снял бы всех этих гусар и драгун с лошадок да в траншеи, а лошадок совсем бы угнал из Крыма.

— Где сена и для артиллерийских упряжек нет, — договорил Хлапонин, — и приходится уменьшать рацион им... Если теперь не подвезут сена, то ведь через месяц начнется распутица, тогда что будем делать?

— Неужели думают, что еще и через месяц не выгонят их... союзников? — Елизавета Михайловна вскинула глаза на мужа, но тут же перевела их на гостя, который как моряк должен был больше знать будущее.

И муж в ответ только чуть поднял подбородок и плечи, а гость ответил уверенно:

— На Алме они взяли двойными силами и штуцерами, теперь сил у нас не меньше, чем было у них тогда, а стрелять из орудий мы умеем не хуже их, — они это узнают при первой же бомбардировке!

А так как в это время денщик Хлапоницы принес на веранду граненый графин водки, окруженный на подносе тарелками с закуской, то Лесли весело потер руки и бойко пропел ходовой среди моряков куплет:

Ехал чижик в ло-дочке
В адмиральском чине,
Не выпить ли во-о-одочки
По этой причине?

Он посмотрел при этом на Елизавету Михайловну так, как будто знаком был с нею и с ее мужем уже давно, как будто попал он к друзьям юности или даже детства, с которыми провел счастливейшие часы, дни, месяцы своей жизни; как будто на его глазах росла, обещая стать красавицей, — и стала действительно красавицей! — маленькая Лиза, доверявшая свои тайные мысли альбомам в сафьяновых и бархатных переплетах, но не ему, на что он отнюдь не обижался, считая это в порядке вещей, а тайные мысли ее безошибочно читая в глазах.

Он был жизнерадостным не потому, что хотел быть именно таким — веселым, непринужденным, неутомимо деятельным: он просто не мог быть иным и не мог смотреть на людей своего возраста и положения иначе, как на друзей юности или детства, сближая этим их с собою с первых же слов. Так же непринужденно ел он и пил в гостях, возбуждая этим аппетит даже у самых пресыщенных хозяев.

Хлапониная видела, что угощать его совершенно излишне, что он очень самостоятелен за столом на их веранде; представляла, что так же самостоятелен он и у себя на бастионе, и спросила:

— Евгений Иванович! А у вас, на третьем бастионе, знают, кто будет вашим противником в случае бомбардировки — французы или англичане?

— Судя по многим признакам, англичане, Елизавета Михайловна, — весело ответил Лесли. — Вот вы наблюдали сражение на Алме, — как вы находите, кто из них лучшие артиллеристы — французы или англичане?

Хлапониная поглядела на него внимательно и серьезно, говоря:

— Я несколько близорука и не гожусь для подобных наблюдений, но я видела наших раненых на перевязочном пункте... Это было ужасно!.. Это было... необыкновенно страшно... как в кошмаре!..

И она совсем закрыла глаза и сидела так долго, забывчиво долго, может быть с полминуты; при этом ресницы у нее мелко дрожали, как

будто она плакала там, внутри, про себя.

— Англичане — лучшие артиллеристы, чем французы, — заметив это, поспешил сказать Хлапонин. — Это мнение не только мое личное, но и всех, кто был под обстрелом тех и других на Алме. Я думаю, что у вас серьезные противники, Евгений Иванович.

— Тем лучше, — беззаботно отозвался Лесли. — Дай бог всякому порядочного противника, и тогда людям некогда будет скучать, а? Как вы думаете насчет противника, Елизавета Михайловна?

— Ах, я думаю, что гораздо лучше было бы, если бы не было у нас никаких противников!.. Я с детства слышу: война, война... А почему война, зачем война — никогда не могла понять!.. Неужели нельзя как-нибудь обойтись без этого ужаса? — спросила Хлапонина гостя.

Но гость предпочел вместо ответа только развести широко руками, — в правой рюмка, в левой вилка с куском жирной баранины, — склонить белокурую голову набок и сказать несколько даже жалобно: — И что же тогда делали бы мы с вашим мужем: я — капитан-лейтенант флота, он — командир батареи, если бы совсем не было войн?

— Конечно, делали бы что-нибудь менее омерзительное, чем теперь вот собираются сделать с вами англичане с их осадными орудиями... и французы... и турки...

— На нас нападают, мы защищаемся, не так ли?

— Ах, это очень трудно разобрать, — Хлапонина слабо махнула кистью руки в сторону гостя. — Только Руссо в тысячный раз оказывается правым: ни науки, ни искусства не послужили к смягчению нравов, нет!

Она была взволнована, — это видел Лесли по ее сильно порозовевшему лицу и по ярко блестящим глазам. Он видел также и то, что мужу своему она уже говорила это, потому что он деятельно и торопливо ел, как очень занятой и проголодавшийся человек, но предпочитал не вдаваться в отвлеченности.

И, улыбаясь, как это было ему свойственно, Лесли обратился к Елизавете Михайловне:

— Совершенно верно: разобрать трудно, кто виноват, что мы должны отстаивать Севастополь, — как это случилось, как это допустили!.. Но

раз допустили, раз дело дошло до такого очень громкого разговора, как пушечные залпы, ничего нам больше не остается, как перекричать их, не правда ли?

— И мы их перекричим, — отозвался ему за жену Хлапонин. — Потому что не может этого быть, чтобы им удалось привезти вот теперь и орудий крупных калибров, и снарядов, и пороху больше, чем было заготовлено у нас в Севастополе! Да нужно подсчитать еще и то, сколько подвезено за последнее время...

— Они опоздали! — решительно поддержал Лесли. — Они теперь кусают вот это место, — он постарался поднести ко рту свой левый локоть, — от досады. Но напрасно-с! Не укусят!.. Какой роскошный арбуз! — восторженно перебил он сам себя, увидя, как входил денщик с огромным полосатым арбузом на подносе, уже надрезанным и кроваво-красным. — Вот мы-то имеем полную возможность наслаждаться такими прелестями, а как обстоит с этим у союзников, — вопрос!

Как раз в это время раздалось один за другим два пушечных выстрела где-то не очень далеко, потому что задрожали неубранные со стола рюмки.

— Союзники ответили на ваш вопрос! — сказала Хлапонина тревожно.

— За-ви-дуют, бестии! — Лесли очень весело подмигнул в сторону выстрелов.

— Однако вам надо же идти на свой бастион?

— Если вы меня гоните, если я вам надоел, то я, конечно, уйду, — отнюдь не собираясь уходить, напротив, принимаясь за арбуз, отозвался Лесли, — но эти выстрелы нашего бастиона не касаются, это по фортам с моря... Должно быть, по Волоховой башне.

Загрохотали выстрелы и с берега, потому что гораздо сильнее дрогнули рюмки. И Хлапонин крикнул денщику:

— Убери посуду!

Несколько раз еще грохотало и сотрясало воздух, но вот наступило продолжительное затишье.

— Отчалили! — спокойно принимаясь за другой кусок арбуза, сказал Лесли.

— А я думаю... что сейчас начнется настоящая канонада... — снова

закрывая глаза и сжимаясь, проговорила тихо Хлапоница.

— Напрасно думаете! Пожалуйста, не думайте так! — весело наблюдая ее, говорил Лесли. — Настоящая канонада впереди... Если мы не совсем еще готовы ее встретить как следует, то, поверьте, и союзники далеко еще не готовы ее начать!

Глава седьмая. Торжество логики

I

Действительно, в стане союзников были еще не готовы к канонаде, но там работали, подготавливая ее, методически, умело, обдуманно, а главное — без помехи.

Та крепость, которую в разобранном на тысячи частей виде перевезли сначала из Дувра и Марселя в Константинополь, потом из Константинополя в Варну, из Варны к Евпатории, спокойно и хозяйственно перевозилась теперь в бухты, занятые союзным флотом, здесь выгружалась на берег, направлялась в заранее намеченные участки осадной линии и воздвигалась неукоснительно по плану подобных сооружений, выработанному западной наукой войны.

Все, оказалось, было нужно, что везли на сотнях коммерческих судов: и мешки с землею, и кирпичи, и готовые фашины, и туры, и тысячи болгар-землекопов с их собственными прочными добросовестно выкованными в болгарских кузницах кирками, мотыгами, лопатами и ломками.

Может быть, даже великое изобилие всего, что было заготовлено для устройства этой крепости против крепости русской — Севастополя, и было отчасти причиной того, что Раглан и Канробер не отдали приказа по своим армиям штурмовать город еще 12/24 сентября.

Бывает так, что обилие средств для достижения какой-нибудь цели подталкивает методический мозг использовать их все, хотя и раздастся ветреный голос: «Зачем так много и для чего так долго?»

Старость медлительна и педантична. Редки случаи, когда она способна круто изменить свои расчеты, так как эти расчеты и есть именно то, что она больше всего ценит в своей угасающей жизни. Подчинить

события своей логике, а не жертвовать хотя бы иногда логикой, натываясь на внезапно изменившийся ход событий, — в этом полнее всего проявляется старость.

Массивный и говорливый при этом, как часто бывает у стариков, лорд Раглан окончательно овладел нерешительным Канробером — прекрасным командиром роты, хорошим командиром полка, посредственным начальником дивизии и совершенно неспособным главнокомандующим армией.

Когда Сент-Арно слабым голосом умирающего передавал ему власть над войском, Канробер был убежден в том, что Севастополь будет взят через несколько дней и что его, Канробера, имя войдет в историю в ореоле славы.

Татары-проводники, бывшие при армии, уверяли, что город совершенно не защищен со стороны суши.

Однако, обогнув город со стороны Инкермана, Канробер увидел, что линия укрепления существует, что она снабжена орудиями и живой силой.

В досаде Канробер приказал повесить татар, хотя они и не были виноваты: они не знали, что было сделано для защиты города Корниловым всего за несколько дней.

— Все-таки, — сказал Канробер Раглану, — эти слабые укрепления не будут в состоянии остановить натиск наших армий, и я уверен в успехе штурма.

Раглан предостерегающе поднял руку и отрицательно покачал головой. Канробер казался ему молодым человеком, способным на всякие легкомысленные, свойственные молодежи действия.

Тщательно округляя фразы, он заговорил о том, что армии утомлены тяжелым переходом, что много больных, что русские будут отчаянно сопротивляться, и если Алма стоила выше трех тысяч человек, то штурм Севастополя обойдется в десять и все-таки может не дать того, что хотелось бы им обоим; между тем укрепления русских так слабы, что не выдержат и пятичасовой бомбардировки осадной артиллерией.

— Севастополь мы с вами можем уже считать взятым, — завершил Раглан цепь своих доводов в пользу правильной осады. — Нам надо добиться только того, чтобы нашу победу не называли пирровой

победой... Нам надо взять его с наименьшим количеством жертв с нашей стороны!

Канробер согласился с тем, что потерять десять тысяч человек при штурме — это слишком большая цена за Севастополь, что такая крупная потеря заставит значительно потускнеть его ореол победителя, между тем как порох и чугун, сколько бы он их ни истратил, учитываться не будут, но сделают то же самое вернее, проще и безопаснее для армии императора французов.

Он помнил красивые слова приказа по армии, данного Сент-Арно в конце августа, при отплытии из Варны:

«Скоро на стенах Севастополя мы будем приветствовать три союзных знамени нашим национальным криком: «Да здравствует император!»

Тогда эти слова казались ему только словами в обычном духе этого бывшего провинциального актера; теперь они приобретали значение и вес. Теперь он думал, что неплохо было бы эти слова вставить в его будущий приказ по армии, когда Севастополь будет взят после надлежащего обстрела из осадных орудий.

II

Можно было нисколько не заботиться о том, чтобы назначить военные суда сопровождать транспорты и купеческие пароходы и парусники, подвозившие все нужное для осады: плавание у берегов Крыма было так же безопасно, как у берегов Франции.

На суше союзники стали твердой ногой: о нападении на них слабой армии Меншикова не могло быть и речи, о крупных вылазках из Севастополя тем более.

Однако в первые же дни оказалось много непредвиденных неудобств. Прежде всего в занятой союзниками под свои лагеря местности почти совсем не было воды. Колодцы в Балаклаве, рассчитанные на скромные нужды небольшого населения, а также в селении Кадык-Кой, в другом селении Комары и в нескольких небольших усадьбах далеко не могли обслужить большую армию англичан, и стакан воды в их лагере продавался по три шиллинга, то есть почти по рублю серебром на тогдашние русские деньги. Еще меньше было воды на Херсонесском полуострове, занятом французами; очень скоро

пришлось перестроить водопровод, снабжавший Севастополь, так, чтобы он спас большие десантные армии от грозного безводия.

Но если запасливые французы в первые же дни разбили для себя палатки и начали ставить бараки, то английская армия ждала палаток десять дней, а пока, совершенно непривычно для себя, расположилась на голой земле бивуачным порядком. Ночи же стали уже холодными, поэтому цена на самое ветхое дырявое одеяло поднялась до двух фунтов стерлингов.

Кроме холеры, которая не прекращалась, развивалось много других заболеваний. Почти все офицеры были больны. Между тем походные госпитали почему-то совсем даже не были погружены на суда и остались в Варне; их ждали со дня на день, но они не приходили.

Однако осадные работы должны были вестись усиленно, чтобы покончить с Севастополем как можно скорее. И с первых же дней английские солдаты поняли, что их любящий комфорт старый главнокомандующий, облюбовавший для штаб-квартиры Балаклаву, не пощадил ни ног их, ни спин, так как разные тяжести, необходимые на позициях, приходилось тащить им на себе за полтора десятка километров, рабочих лошадей было мало, корму для них тоже мало; надрываясь на подвозе осадных орудий к позициям, они выбивались из сил и погибали. Местность была гористая, дороги плохие, если не приходилось их тут же прокладывать.

Даже огромные гвардейцы дивизии герцога Кембриджского, племянника королевы Виктории, и те через несколько дней сильно подались и имели измученный вид.

Французы занимали левый фланг осадной линии; им от Камышовой и Стрелецкой бухт до позиций было гораздо ближе; их главный штаб, подготовлявший экспедицию, оказался гораздо предусмотрительнее английского; их интендантство заботливее; в их лагере было меньше больных.

Но третье союзное знамя, которое Сент-Арно собирался приветствовать на стенах Севастополя, принадлежало туркам. Их дивизия насчитывала семь тысяч офицеров и солдат; они привезли с собой двенадцать полевых орудий и девять осадных, но кормить людей этой дивизии приходилось французам на свой счет еще в

Варне, и если в первое время в Крыму даже французские солдаты не могли получить того, что им полагалось, то тем более — турки.

Поставленные как резервные силы в тылу французских и английских лагерей, турки, мучимые голодом, толпами бродили около кухонь и походных пекарен французов и англичан, выпрашивая необглоданные кости и хлебные корки; рылись в кучах отбросов и расходились по окрестностям в надежде ограбить местных жителей.

Но к этой последней спасительной мысли пришли и главнокомандующие союзных армий, решив ограбить Ялту, как наиболее близкий к Севастополю и наиболее населенный из прибрежных городов.

Это было утром 22 сентября — перед Ялтой выстроилась эскадра в десять вымпелов; из этих судов, часть которых принадлежала английскому, часть — французскому военному флоту, особенно выделялись величиной два трехдечных корабля, сопровождавшиеся на случай безветрия двумя колесными пароходами.

И ялтинцы только еще спрашивали друг друга встревоженно, что может значить этот ранний и торжественный визит, как один из пароходов подошел к берегу.

Тогда всем ясно стало, что надо бежать из города, и первыми двинулись различные, свойственные уездным городам того времени «присутственные места»: казначейство, уездный суд, городская управа и прочие. Весь гарнизон Ялты — около пятидесяти человек солдат и казаков при офицере — прикрывал это шествие. Таща детей и узлы наскоро собранного скарба, потянулись за ним жители по дороге на Симферополь, мимо Гурзуфа, Алушты и других татарских аулов.

Но уйти успела только часть жителей. Союзники действовали быстро. С каждого судна были спущены шлюпки; в них посажено человек до пятидесяти солдат, и десант этот, рассыпавшись по набережной и всюду по улицам, чуть ли не к каждому дому поставил часового; всякое движение было прекращено, все замерло, ожидая, что будет дальше.

Дальше же начался грабеж. Все дойные коровы и козы, которых ввиду раннего часа не успели еще выгнать на пастбище, выгонялись со

двора на улицу, откуда их гнали к пристани, чтобы грузить на шлюпки и баркасы. Туда же тащили мешки, набитые курами и прочей домашней птицей. Так как свиней вообще трудно перегонять с места на место, то их кололи штыками и подвозили туши их к пристани на обывательских подводах. Хлеб, яйца, вино, сахар, мука, крупа — все съестное забиралось и отправлялось на суда.

Однако солдаты нуждались не только в съестном. Они выламывали двери и окна, которые могли пригодиться им в лагере; из сундуков и гардеробов вытаскивали пальто; потом, входя во вкус полной безнаказанности своих действий, разбивали прикладами посуду, рвали штыками картины, книги, вообще уничтожали то, что им было не нужно или чего не могли унести.

С почтовой станции вывезли все брошенные там экипажи и сбрую, опустошили все магазины и казенные склады. Совершенно разорили и Ливадию, принадлежавшую тогда графу Потоцкому.

Два дня длился этот погром Ялты и окрестных имений. Только в ночь на 24 сентября ушла эскадра, и только имение императрицы — «Ореанда» — осталось не тронутым из соображений высшей политики.

III

По ночам в Севастополе слышен был стук многочисленных колес по каменистым звонким сентябрьским дорогам на неприятельской стороне: там неутомимо трудились над возведением брустверов и установкой орудий. Прошел даже слух, что союзники привезли с собой паровые машины для рытья траншей; но саперы сомневались, чтобы такие машины могли справиться со скалистым грунтом.

Ясными днями отчетливо была видна пыль, поднимаемая тысячами кирок и мотыг за три, даже за две версты от русских оборонительных линий. Рабочих обстреливали из дальнобойных орудий и замечали, что они разбегались, прекращая работы; но по утрам оказывалось, что неприятельские траншеи росли и что они приближались зигзагами.

Со стороны англичан — против третьего бастиона — появилась вдруг за одну ночь траншея всего в семистах саженьях от русских траншей, а со стороны французов, против пятого бастиона, еще ближе: меньше чем за версту.

Это был труд не менее упорный, чем труд русских моряков и солдат. Лошади союзников решительно не в состоянии были выносить ту работу, которая требовалась от них по подвозке к укреплениям осадных орудий, они падали по несколько десятков в день.

Пластуны и команды штуцерников ежедневно посылались Корниловым обстреливать рабочих, но французы выставляли против них цепи своих африканских егерей, англичане — снайперов, и перестрелка, то оживляясь, то временами затихая, стала ежедневной, втягивая все большее число команд.

Но штуцерных в русских полках было мало. Корнилов просил Меншикова прислать ему батальон стрелков. Меншиков обратился за этим к Горчакову, в Одессу. Горчаков, получив с курьером просьбу Меншикова, правда, распорядился послать стрелковый батальон на подводах, но батальон прибыл гораздо позже, чем его ждали.

Союзники спешили. Они не отвечали орудийным огнем на выстрелы русских пушек, не желая обнаружить расположения своих батарей. Они даже не прорезывали вполне амбразур или, прорезав, тут же закрывали их мешками с землей и турами. Они скрытничали, но когда стало обнаруживаться, что пехота выбивается из сил, сооружая траншеи и блиндажи, Раглан и Канробер потребовали от командующих флотами — лорда Дондаса и Гамелена — подкрепить пехотинцев матросами, которых насчитывалось в обоих флотах до двадцати пяти тысяч. Так что части моряков союзников, как и все русские моряки, сошли на берег, чтобы стать саперами и потом — артиллеристами у осадных орудий.

В полдень 4 октября и Канробер и Раглан получили донесения, что подготовительные работы к бомбардировке крепости с суши можно считать законченными. Из главных квартир обеих армий об этом дано было немедленно знать Дондасу и Гамелену, и к вечеру этого дня с береговых фортов замечен был проворный небольшой пароход, шнырявший вне выстрелов русских батарей на линии входа на Большой рейд и разбрасывавший буйки.

Что это значило, было известно морякам. Союзная эскадра в полном сборе стояла у устья реки Качи, из которой доставляли пароходами воду во французский лагерь; буйки, поставленные в море,

показывали, что корабли союзников решили появиться перед фортами во всем своем боевом могуществе.

И в то время как флигель-адъютант подполковник Альбединский скакал на перекладных с собственноручным письмом Николая Меншикову, Раглан и Канробер верхами, в окружении нескольких штабных генералов, французских и английских, объезжали свои укрепления, на которых все считалось законченным для небывалой еще в истории канонады.

Николай отбрасывал даже и самую мысль об обороне, казавшуюся ему позорной; он настаивал на наступлении, хотя бы и постепенном, «укрепляясь на удобных местах». Он ободрял Меншикова: «Время года за нас; думаю, что союзникам куда не покойно в их лагере, на голой каменистой местности, где их продувает со всех сторон! Сын твой говорит, что они очень болеют и мрут, — ничто им! В газетах тоже упоминается о болезнях. Все это несколько охладит их жар!»

Главнокомандующие союзных армий знали о том, что действительно многие болеют и многие мрут, но они видели, объезжая свои позиции, что предназначения выполнены, несмотря ни на что.

Канроберу, который в Галаце, будучи еще только начальником первой дивизии, накричал на пашу, требуя от него дров для отопления казарм в апреле, не хватало выдержки и теперь, когда он стал во главе французской армии. Это подумал о нем, поморщившись, лорд Раглан, когда тот обратился к инженерному полковнику-англичанину с бестактным замечанием:

— Все-таки я нахожу, что русские укрепления тоже очень сильны! Как вы их находите, господин полковник?

Полковник, исхудалый от трудов, но аккуратно выбритый, поднял глаза на сидящего верхом французского главнокомандующего и ответил:

— Они построены не для огня наших орудий! При первых же наших выстрелах они обратятся в пыль.

Ответ этот понравился Раглану. Кивнув поощрительно в сторону столь великолепного, самоуверенного инженера, он обратился к Канроберу несколько более возбужденно, чем это было позволительно для его лет:

— Мой дорогой друг! Здесь, — он указал широким жестом своей единственной руки на огромные ланкастерские осадные орудия, выстроившиеся внушительно на батарее, прозванной русскими «пятиглазой» по числу амбразур в ней, — здесь мы с вами присутствуем на торжестве военной логики! Она молчалива пока, но завтра ее силу почувствуют русские! Завтрашний день будет началом конца наших военных операций!

Глава восьмая. Канонада 5/17 октября

I

Два полка дивизии генерала Кирьякова — Московский и Тарутинский — готовились к своим полковым праздникам, которые наступали для первого 5, для второго — 6 октября.

Как всегда перед подобными праздниками, в полковых казармах все мылось, чистилось, «репертилось», как говорили тогда солдаты, производя это слово от «репетиция». Кашевары на кухнях даже пекли пироги с начинкой из капусты с рублеными крутыми яйцами. Заготавливалась водка для раздачи солдатам праздничных чарок; варилась двойная порция мяса: кроме говядины, еще и козлятина.

Между тем на батареях уже чувствовалось всеми, что вот-вот разразится бомбардировка: позиции противника были очень оживлены, замаскированные амбразуры открывались... Люди здоровые, полнокровные, жизнелюбивые, осевшие на батареях моряки, из которых многие сражались при Синопе, не хотели зря терять вечера, может быть последнего для многих; и тот праздник, к которому только еще готовились пехотинцы двух полков, самочинно пришел на батареи.

Это был как бы вполне законный отдых, когда люди пошабашили, закончив долгую, трудную, ответственную работу. Сделав все, что могли, вспрыснули в складчину конец дела, бастионы — восемь больших, считая с Малаховым курганом, и тридцать четыре малых.

Начальство не запрещало матросам ни музыки, ни песен, ни плясок до поздней ночи. Начальство разрешило это и себе. Казармы и палатки, в

которых расположился Московский полк, были невдали от третьего бастиона; приготовления к полковому празднику создавали на всем бастионе то предпраздничное настроение, когда люди, честно проработавшие перед тем больше месяца, разгибают спины, разминают плечи, утирают пот.

Душою вечеринки в офицерском блиндаже был Лесли: непринужденно острил, рассказывал неизвестно откуда им взятые, но явно для всех свежие анекдоты, пел «Чижика» с вариациями не для дам...

Командиром бастиона был капитан 2-го ранга Попандопуло, из одесских греков, а младшим офицером на батарее Лесли — сын старого Попандопуло, мичман, юноша лет двадцати двух, во всем стремившийся подражать своему непосредственному начальнику — капитан-лейтенанту.

На бастионе было двадцать два орудия; Лесли командовал батареей крупнокалиберных пушек, снятых с линейного корабля «Императрица Мария».

Вглядываясь в амбразуры английских батарей и поглаживая и похлопывая гладкий и длинный хобот одного из своих орудий, Лесли говорил юному мичману:

— Ничего, господа энглезы! Мы вам вшпарим по всем правилам искусства! Мы вам расчешем ваши рыжие кудри!

И мичман Попандопуло, невысокий, но стройный и очень ловкий южанин, с правильным, красивым, несколько долгоносим лицом, понимал, что это не для его ободрения говорит так его начальник, — он не нуждался в ободрении, — что это была твердая уверенность в успехе артиллерийского состязания завтрашнего дня. Кроме дальнобойных морских орудий, на бастионе стояла батарея полевых пушек и батарея мортир для стрельбы картечью, на случай, если союзники рискнут пойти на штурм.

Так как бастионом ведал его отец, немногоречивый, но деятельный и умевший всех около себя заставить работать как надо, то юный мичман чувствовал себя, может быть, даже прочнее, чем кто-либо другой на бастионе: отцу он привык верить с детства, отец не мог что-нибудь упустить из вида, не мог чего-нибудь недоделать. Для мичмана Попандопуло третий бастион был самым сильным на всей линии

обороны, и после шумной вечеринки 4 октября юноша заснул спокойно и крепко, укрывшись шинелью, в углу блиндажа, чтобы подняться в пять утра, как ежедневно, ополоснуть лицо водой из корабельной цистерны — и к орудиям: долг службы — стать возле них раньше, чем подойдет Евгений Иванович, командир батареи; а в шесть происходила смена вахтенных, и он заступал на вахту.

В полдень этого дня объезжал линию укреплений, как обычно верхом, с двумя флаг-офицерами, Корнилов, и мичман Попандопуло слышал, что адмирал, остановясь у них на бастионе, указал его отцу, кивнув на пятиглазую батарею англичан с открытыми амбразурами:

— По всей видимости, они приготовились уже к бомбардировке... Ну, что ж... Встретим и примем!

— Мы ведь тоже сделали все, что могли сделать, ваше превосходительство, — с достоинством отозвался отец, который при одних летах с Корниловым имел уже сильную проседь в черных усах.

— Да, мы готовы... Мы готовы... Мы готовы! — все с большей уверенностью повторял Корнилов, подымаясь на стременах, чтобы разглядеть что-то такое там, на Зеленой горе, у неприятеля. — Они готовы, конечно. Однако — и мы тоже... А там пусть уж решает сам бог!

Он был очень серьезен, говоря это, даже торжественно серьезен. У него были прозрачные глаза в несколько воспаленных, от недосыпания вероятно, веках и длинные, белые, с синими венами, кисти рук.

Засыпая в углу блиндажа под шинелью, мичман увидел высокую тонкую женщину в средневековом шлеме, с мечом на серебряном поясе, с такими же прозрачными глазами и с такими же длинными белыми кистями рук. «Кто это, Евгений Иванович?» — спросил он Лесли. «Как же так «кто»! Понятно, Жанна д'Арк!» — ответил Лесли.

А у Корнилова как раз в это время сидел, собираясь уже уходить, Нахимов. Корнилов жил тогда в доме того самого отставного поручика Волохова, который построил форт в виде башни на Северной стороне. Меньшую половину дома занимал он сам, большую — его штаб. Установка буйков в море пароходом союзников ясно указывала на то, что к бомбардировке с моря нужно быть готовыми не позже, как

завтра. Поэтому Корнилов собрал к себе на совещание не только начальников сухопутных оборонительных дистанций: трех адмиралов — Новосильского, Панфилова и Истомина — и генерала Аслановича, но также и командиров береговых фортов. Конечно, на совещании присутствовал и генерал Моллер, продолжавший считаться начальником Корнилова, и Кирьяков, командовавший не только своей дивизией, но и всеми резервными силами, местом стоянки которых была Театральная площадь, а назначение — броситься в ту сторону линии обороны, которой неприятель угрожал бы прорывом.

Но все бывшие на совещании уже разошлись, Нахимова же удержал сам Корнилов, так как только с ним связывала его не то чтобы близкая и теплая дружба, но та старинная приязнь, которая стоит дружбы.

Нахимов часто бывал в семействе Корнилова, его, с его коротенькой трубочкой, всегда любила видеть у себя Елизавета Васильевна, жена Корнилова; к нему привыкли дети. С ним можно было поговорить не только о служебном, тем более что о служебном все уже говорилось раньше.

Куда и какими бортами должны были стать оставшиеся корабли в случае бомбардировки с суши и с моря, об этом уже говорилось; обсуждался и способ потопить их, если бы противник ворвался в город. Как тушить на них пожары, результаты обстрела, команды знали...

Нахимов был нужен Корнилову, чтобы поговорить с ним о чем-то другом, что для него самого было как бы неясно, но важно.

В просторном кабинете, где они сидели, висел синий табачный дым. Тогда лучшим табаком считался табак фабрики Жукова, и курить какой-либо другой табак было признаком плохого тона. Два адмирала сидели друг против друга за столом, с которого не убрали еще распитых после совещания бутылок красного вина.

— Павел Степанович, письмо мне привез николаевский курьер от жены... Просит Елизавета Васильевна передать вам поклон... и дети тоже...

— Очень благодарен за память!.. Очень рад, очень... — пробормотал Нахимов. — А где-то теперь Алеша на «Диане»?

— Да, вот... Алеша... «Диана», может быть, теперь подходит к

Сингапуру, но ведь англичане находятся с нами в состоянии войны и могут захватить корабль, — вот чего я боюсь!

— Отстоится, — Нахимов благодушно кивнул головой. — Отстоится в каком-нибудь нейтральном порту-с... скучно, конечно, будет, если очень долго стоять, да... но ведь трудно-с и предположить такое, чтобы покусились они на наш корабль, когда он учебное плавание совершает!.. Нет, Владимир Алексеевич, они этого не делали до сих пор и, я думаю, не решатся сделать.

— Я тоже полагаю, что англичане... Они — народ крепких традиций... Но вот французы, при теперешнем правительстве, — французы могут! Нахимов поморщился, усиленно потянул из чубука, выпустил кольцами дым и сказал решительно:

— Нет, и французы не сделают!.. Наконец, постоять в китайском или голландском порту — это-с... это-с поучительно для юноши...

— Об этом нет спору... Поучительно, да, — был бы хороший надзор за ним... А то эти портовые города в Китае...

— Алеша — строгий к себе мальчик: для него не опасно-с.

— Это вы хорошо определили его, — с живостью подхватил Корнилов.

— «Строгий к себе». Прекрасно сказано!.. Он даже и плохим товарищам не поддастся! В нем есть эта... эта твердая самостоятельность, да — она и в детстве у него была... «строгий к себе»! Это, это, знаете ли, то самое, что и нам всем осталось... Мы попали в строгое время, и не мы одни, — вся Россия! Для России настали строгие времена, да! И может быть, самый строгий день будет завтрашний... Переживем ли его мы с вами, Павел Степанович?

Вопрос был задан быстро, скороговоркой, так что Нахимов, казалось, не сразу даже и понял его, но когда он дошел до его сознания, то, пососав чубук, адмирал с большим Георгием — за Синоп — на шее крякнул, оперся о спинку кресла и проговорил назидательно:

— Бог не без милости, а моряк не без счастья.

— А если моряк выброшен на сушу? — слабо улыбнулся Корнилов. — Нильскому крокодилу в воде тоже везет, а вылезет на берег — и не заметит, как схватит пулю... Ведь это — совсем другая стихия, Павел Степанович, для нас с вами... Но это я между прочим... Жена прислала благословение: тревожится. Правда, она уж давно тревожится, и

могло бы войти это даже в привычку, но теперь как-то у нее это сказало... от глубины сердца... Вы верите в предчувствия?

— Я верю только в то, что не всякая пуля в лоб-с, — серьезно ответил Нахимов. — Убить человека, для этого, — нам с вами это известно, — много свинца и чугуна надо истратить.

— Вы — одинокий, Павел Степанович... Правда, брат у вас есть в Москве, но брат — это, знаете ли, совсем не то, что своя личная семья — жена, дети... Я написал на всякий случай духовную с месяц назад, еще перед Алмой. Сегодня утром перечитал ее, — кажется, все там сказал, — не знаю, что еще можно добавить.

— Что вы, Владимир Алексеич. Что вы! — даже с подобием испуга в глазах отозвался Нахимов. — Разве вам можно думать о смерти? Вы только вспомните, как же без вас останется Севастополь! Что вы-с! Вы только об этом, об этом самом подумайте: кем же вас заменить можно? Никем-с! А защита Севастополя, как вы ее поставили, очень надолго-с, очень надолго-с может затянуться! Мимо таких-с людей — о, она, эта курнобая, с косою, — сторонкой, сторонкой-с обходит, сторонкой! Я даже и за себя не боюсь — видит бог, ни вот столько! — он указал на кончик чубука. — А вы Севастополю необходимы, как... как все его орудия и все снаряды-с! И чтобы такой человек погиб в самом начале дела, — помилуйте-с! Вас история выдвинула-с, — сама история-с? Зачем же она вас выдвигала? Чтобы тут же, извините меня, по затылку вас хлопнуть? История — не дура-с! История не так глупа-с, нет!

Давно не замечал Корнилов, чтобы герой Синоп так искренне говорил и так разгорячался при этом. Ему стало неловко, как будто он смалодушничал.

Рука его, уже готовая было дотянуться до кипарисового ларца, в котором лежало его духовное завещание, медленно опустилась и стала вертеть пустой винный стаканчик. Видимо, в словах Нахимова нашлось что-то такое, что было для него если не ново, то убедительно, — и он поднялся, обошел стол, положил руки на эполеты Нахимова и три раза, точно христосуясь, поцеловал его в дымящиеся, слабо растущие усы.

— Спасибо на добром слове, — сказал он потом бодро, почти весело.

— Вы правы в том отношении, что поддаваться всяким этим

предчувствиям и, как бы сказать, голосам вещей сердец — это упадок духа, разумеется, и для этого надо иметь, кроме того, свободное время, — да, вот именно: свободное время! А у нас его нет... Кстати, я забыл вам сказать: князь присылает нам, то есть в адрес командующего войсками в Севастополе, генерала Моллера, некоего полковника генерального штаба Попова в начальники штаба... Так что теперь у нас все пойдет не как бог на душу положит, а вполне поученому. Пишет князь, что этот Попов в Петербурге на лучшем счету. — Ну, что же-с: одним петербургским умником будет больше, — непроницаемо спокойно отозвался на это Нахимов и положил трубку в карман, что делал он всегда перед тем, как встать и прощаться.

II

Московский полк утром 5 октября выстроился около своих палаток и казарм поротно, составив ружья в козлы. Полковой священник готовился начать молебен по случаю праздника, хотя непраздничной была погода.

Рассвет наступил поздно из-за тумана, густо залегшего вскоре после полуночи. В нескольких шагах ничего уже не было видно, — люди появлялись и расплывались, как тени.

Когда же туман сдвинулся к морю и открылась линия неприятельских укреплений, к ним сразу повернулись тысячи лиц, чтобы узнать, что они готовят. Но там не замечалось ничего бросающегося резко в глаза: ни суетливого движения солдат, ни заново открытых амбразур...

Сзади, в Севастополе, тоже шло все заведенным порядком: рабочие выгружали адмиралтейство, как всегда с самого утра; по Южной бухте и Большому рейду энергично двигались шлюпки, баркасы, гички и совсем небольшие лодчонки, носившие название «вереек»; переправлялись с берега на берег люди, перевозились тяжести, — работа каждого дня, постоянством своим породившая уже устойчивость и спокойствие не только в солдатах, но даже и в обывателях.

И когда до уха иной матерой боцманши с Корабельной слободки доходило зловещее известие о возможной и скорой уже

бомбардировке, она говорила презрительно:

— Э-э, бандировка, бандировка! Пугаешь зря, будто мы пужливые! Не слышали мы, што ль, никогда твоей бандировки! — и поджимала высокомерно губы.

Палатки белели в тылу укреплений всюду. Пехотные части были придвинуты Корниловым на случай штурма и штыкового отпора. Утренние подводы, привезшие из города хлеб и мясо для кухонь, виднелись между палатками, на задних линейках. Артельщики раздавали хлеб и черные ржаные сухари солдатам. Водовозы медленно продвигались, и к ним бежали с ведрами, чтобы защитники укреплений имели все, что полагалось для завтрака: не только сухари, но также и воду, чтобы было в чем размочить эти окаменелости, может быть десятилетней давности.

Все в это утро было как всегда, за исключением только полкового праздника в Московском полку, где начался уже было молебен, как вдруг грохнуло оттуда, со стороны противника... и еще... и в третий раз.

И не успели еще как следует переглянуться и снять со лбов сложенные для креста пальцы солдаты Московского полка, как загрохотало уже по всей линии противника сразу сто двадцать огромных осадных орудий — английских, французских и турецких, — и, пряча поспешно на ходу свой требник в широкий карман рясы, стаскивая через голову золототканную ризу, первым покинул поле молебствия перепуганный поп.

Солдаты ждали команды и искали глазами своих ротных командиров, но ротные точно так же оглядывались на батальонных, те — на командиров полков... И несколько минут канонады прошло в этих ищущих взглядах, пока, наконец, закричали, передавая сзади приказ Кирьякова:

— Пехотным частям отступить к городу!.. Пехоте отступить в порядке к улицам города!

Кричать приходилось звонко и чуть не в ухо соседа, потому что ста двадцати осадным орудиям союзников дружно принялись отвечать сто восемнадцать больших морских орудий русских бастионов. Трудно было и в двух шагах перекричать такой рев... клубы плотного дыма

очень быстро заволокли все кругом, и целей уже не было видно артиллеристам: только вспыхивали слабо то здесь, то там желтые огоньки выстрелов. Парадно выстроившийся для молебна Московский полк уходил к городу, унося и увозя многих раненых, а вслед ему визжали в воздухе ядра. Мчались нахлестываемые вожжами ротные лошади... За насыпями укреплений прятались от ядер матросы и солдаты бастионов, но эти насыпи, сделанные из каменной щебенки, рассыпались от удара ядер и обрушивались вниз, как град картечи. С каждым таким ударом они становились ниже и ниже. Щеки амбразур, выложенные мешками с землей, загорались от выстрелов, что очень мешало стрельбе. Блиндажи на бастионах только носили название блиндажей; их все-таки не успели сделать, как было нужно: это были простые навесы с тонким слоем земли на крыше. Они были похожи на обыкновенные татарские сакли в каком-нибудь ауле Бурлюк или Алма-Тамак.

Осадные орудия в большинстве были английские, и поставлены они были так, чтобы обстреливать Малахов курган и бастионы третий и четвертый.

Тот хутор с длинной каменной стенкой, которую разметали матросы при своей удачной вылазке, отогнав два батальона французов, скоро был занят французами снова. Это был хутор Рудольфа, давший свое имя и горе, на которой расположился.

Рудольфова гора была теперь вся в дыму и сверкании выстрелов французских батарей, стрелявших тоже по четвертому бастиону, взятому под перекрестный огонь.

Эти батареи на Рудольфовой горе были обстреляны в полдень 2 октября из сорока русских орудий. На пробной стрельбе тогда определялись углы возвышений для мортир и пушек, благодаря чему теперь каждый выстрел попадал в цель, хотя сплошной дым делал невозможной прицелку.

Ветра не было, дым висел всюду, как в курной избе, дым ел глаза, от дыма трудно было дышать.

— Ре-е-е-же!.. Ред-кий огонь! — пытались командовать на батареях офицеры, чтобы осадил дым, чтобы можно было хоть что-нибудь разглядеть вблизи, а вдали хотя бы приблизительно нащупать линии

неприятельских траншей.

Но матросы-артиллеристы вошли в азарт. Они не замечали даже того, что слишком перегревались орудия. Они действовали как на корабле в море, где бои бывают жестоки, но не длинны и во время боя некогда думать о чем-нибудь другом, кроме самого боя. Они не знали, они могли только догадываться по неумолкаемой и меткой горячей пальбе противника, что там у многих орудий стоят такие же матросы, как они, взятые с кораблей Рагланом и Канробером.

При первых же выстрелах канонады Нахимов сел на своего рыжего и поскакал, как был — в сюртуке с эполетами, на линию укреплений. Оттуда уже валом валила пехота к городу, и трудно было сразу понять, почему и куда уходят так поспешно. Нахимов пробовал кричать солдатам: «Ку-да?» — это не помогало, — голос терялся в грохоте и громе канонады. Только командир Бородинского полка полковник Вережкин, бывший тоже верхом, заметив адмирала, сам подъехал к нему и доложил, что пехоте приказано отойти, чтобы не нести напрасных потерь.

Однако в поспешной стрельбе без прицела много ядер и бомб перелетало через бастионы, и бомбы крутились перед разрывом, и ядра прыгали здесь и там.

Нахимов добрался до пятого бастиона и остался на нем. Когда он говорил Меншикову, что содействовать защите Севастополя с суши не может, так как он — адмирал, а не генерал, он представлял себе дело это во всей его сложности, действительно ему совершенно незнакомой. Но отдельный бастион был то же самое, что флагманский корабль в Синопском бою, а на своем корабле тогда он не был праздным зрителем, — не хотел быть им он и теперь.

Он сам наводил орудия. Он поднимался на бруствер, чтобы следить, насколько позволял дым, как могли ложиться снаряды по Рудольфовой горе.

Но снаряды тучей летели и оттуда, иногда сшибаясь в воздухе с русскими ядрами, и один из них разорвался недалеко от Нахимова, когда он стоял на бруствере и глядел в свою морскую трубу.

Был ли это совсем небольшой осколок, или кусок камня, подброшенный с земли, но Нахимов, почувствовав легкий удар в

голову, сдвинул еще дальше назад и без того сидевшую на затылке фуражку.

Затем он снял фуражку, оглядел ее, она была чуть заметно пробита; провел по голове над левым виском ладонью — кровь.

— Ваше превосходительство! Вы ранены? — подскочил к нему командир батареи капитан-лейтенант.

— Неправда-с! Ничуть не ранен! — Нахимов строго поглядел на него и надел фуражку.

— Вы ранены! Кровь идет! — крикнул обеспокоенный другой офицер, но Нахимов поспешно вытер платком щеку, по которой покатила капля крови, и сказал ему:

— Слишком мало-с, слишком мало-с, чтобы беспокоиться!

В это время сзади молодцевато рявкнуло солдатское «ура». Нахимов оглянулся и увидел слезавшего с лошади Корнилова.

— Слишком много-с, слишком много-с — два вице-адмирала на один бастион, — пробормотал он, крепче прикладывая к голове платок, но стараясь делать это так, чтобы не заметил Корнилов.

— Павел Степанович! И вы здесь! — прокричал Корнилов, здороваясь с ним оживленно, даже пытаясь улыбнуться.

— Я-то здесь, — несколько отворачивая голову влево, бросил в свою очередь и Нахимов. — А вот вы зачем-с? — и глядел укоризненно.

— Как я — зачем? — постарался не понять Корнилов.

— Дома-с, дома-с сидели бы! — прокричал совсем недовольно Нахимов.

— Что скажет свет! — шутливо уже отозвался на это Корнилов и взял из его рук трубу, так и не заметив, что он ранен.

III

Французские батареи, — с Рудольфовой горы и из первой параллели, которую удалось французам вывести в ночь на 28 сентября в расстоянии всего четырехсот пятидесяти сажен от русских укреплений, длиною до полуверсты, — расположены были слишком близко, чтобы снаряды их не попадали в город, а дальнобойные орудия, стрелявшие калеными ядрами, выбирали своею целью корабли на рейде и деревянные дома в городе, чтобы вызвать

пожары. То же назначение имели и конгревовы ракеты, пускавшиеся из особых ракетных орудий.

И пожары в городе начались, как это и предвидел Корнилов, по приказу которого из обывателей, инвалидов и арестантов образовано было несколько пожарных команд в разных частях.

Загорелся и сарай одного дома на Малой Офицерской, и Виктор Зарубин бросился его тушить.

Зарубины были в большой тревоге. Теперь уже Капитолина Петровна твердо решила бежать из дома и пихала в узлы из скатертей все, что попадалось ей на глаза, как всегда бывает с женщинами во время близкого пожара.

Она приказала Варе и Оле одеться; она помогла мужу натянуть шинель. Она кричала ему звонко:

— Что-о? Дождался? Вот теперь и... Дождался?.. Вот!

И капитан беспомощно глядел на нее, на детей, на окна, озаренные багровым отсветом, и не находил, что возразить, только открывал и закрывал рот, как рыба на берегу.

Но вот вбежал запыхавшийся, с потным лбом Виктор и закричал от двери:

— «Ягудиил» горит!

Этот крик сразу зарядил Зарубина боевой энергией.

— «Ягудиил»? Горит? — повторил он. — Зна-чит... зна-чит, и до рейда... до рейда достали?

«Ягудиил» был линейный корабль, трехдечный, восьмидесятипушечный, — грозная морская крепость, давно и отлично знакомая Зарубину, и вот теперь эта крепость горела. Старик представил это, внимательно глядя в пышущее лицо сына, и сказал веско, тоном команды:

— Тогда пойдем!.. Ставни закрыть на прогоничи!.. Двери все на замок!..

Он даже выпрямился, насколько позволила сведенная нога.

— Я сбегая за Елизаветой Михайловной! — вдруг забеспокоилась Варя. — Пусть и она тоже с нами! — и тут же выскочила в дверь.

Она вернулась скоро. Она проговорила с ужасом в глазах:

— Прихожу, — денщик говорит: «А барыня давно ушли». Куда?.. Куда

ушла? «Не могу знать... Ушли и мне ничего не сказали...»

Видно было, что она передавала свой разговор с денщиком Хлапониных слово в слово.

— На Северную все бегут переправляться! — сказал Виктор.

— Вот, значит, и мы... и мы туда тоже... на Северную! — скомандовал Зарубин.

Как раз в это время ядро ударило в сад, раздробив яблоню синап-кандиль.

— Выходи вон из дома! — закричал, ударив в пол палкой, капитан.

И все поспешно вышли, захватив только те узлы, какие были поменьше, забыв закрыть ставни на железные прогонищи и успев только запереть входную дверь.

Твердо опираясь на палку, капитан строго оглядывался по сторонам, как ведут себя неприятельские бомбы и ядра.

Чтобы попасть на Северную, где, — говорили так те, которые спешили рядом с ними, — было безопасно от бомбардировки, нужно было дойти до пристани, — несколько кварталов.

Виктор тащил свой узел, который сунула ему в руки мать, на поднятом локте так, чтобы можно было закрыться им, если встретится кто-нибудь из своих юнкеров: стыдно было.

Но никто не встретился, — все шли в том же направлении, как и они, — к Графской пристани.

А ядра визжали над головами, звучно шлепаясь потом в стены и черепичные крыши. Из бухты же вслед за оглушительными выстрелами летели русские ядра им навстречу.

— Это «Владимир» и «Херсонес», — объяснял отцу Виктор. — Бьют по Микрюкову хутору, где англичане.

Старый Зарубин шел с большим трудом, но то, что свои пароходы посылают англичанам гостинцы, его ободряло.

— Ага, Виктория... Виктория... — бормотал он. — Повертись теперь!

«Ягудиил» же действительно горел, однако было видно, что его деятельно тушили матросы: рядом с черным дымом виднелся над ним белый пар и языки пламени то вырывались, то исчезали.

На пристани было уже очень людно.

Всем хотелось поскорее уйти от смерти, летавшей кругом. Тут были

семейства интендантских, портовых и прочих чиновников, усиленно проклинавших себя теперь за то, что не отправили своих раньше. Многие говорили с решимостью отчаянья:

— Только бы до Северной добраться, а там — хоть пешком пойдём на Симферополь!

Более спокойные замечали:

— Да раз он такую пальбу затеял, то, пожалуй, на Симферополь уж и не пробьётся.

Однако пробиться и на Северную сторону было тоже очень мудрено. Шлюпки у пристани были, но стояли на причале и без весел. Иные смелые перевозчики брали пассажиров, но оставшиеся на берегу с замиранием сердца и аханьем следили за тем, как люди пробирались мимо неподвижных и тоже как будто замерших бригов и горевшего «Ягудиила», ожидая, что вот-вот обрушится на них сверху граната или ядро.

Один яличник, вернувшийся оттуда, с Северной, наотрез отказался везти кого-нибудь снова, хотя к нему кинулось наперебой несколько семейств.

— Первое дело, — сказал он рассудительно, — я могу живым манером ялика своо решиться; второе дело — я могу вас, своих давальцев, решиться; а третье дело — своей жизни могу решиться. Зачем же мне тогда, господа, ваши деньги, обсудите сами?

Он был морщинистый сурового вида крепкий человек. Деньги ему протягивали, но он отводил их рукою и добавлял:

— И так что еще, хотя я и не начальник какой, а могу вам сказать, что раз идет такая смертельная стрельба, кучно не стойте, а кто куда разойдитесь, — потому как может случиться большой от этой кучности вред.

— Папа! Давай у него купим ялик, — пойдём сами на веслах! — обратился Виктор к отцу, и глаза у него так и горели.

— Скажи матери, — буркнул Зарубин.

Капитолина Петровна так была напугана рассуждениями яличника, что только махала рукой — на Виктора. Но вот ядро ударило шагах в десяти от них, к счастью никого не задев, а яличник уже уходил, унося свои весла.

Капитолина Петровна поспешно сунула в руку Виктора десятирублевую ассигнацию, и Виктор кинулся за перевозчиком, а через несколько минут торжественно тащил весла.

Эти весла на плечах Виктора могли означать что угодно, — будущее было темно и страшно, но маленькая Оля вскрикнула, ликуя:

— Есть весла! Есть! Смотрите!

И все около нее, не говоря о самом Викторе, поверили, что в этих веслах спасенье их жизней.

Варя даже оглядывалась кругом с последней надеждой — самой крепкой! — не покажется ли где Хлапоница.

— Куда же Елизавета Михайловна могла?.. Может быть, уже давно переехала? — спрашивала она мать.

Но мать отвечала ей с чувством:

— О себе заботься, а не о людях!

Уселись в ялик. Их считали счастливыми те, кто остался на пристани.

Виктор сел на весла, стараясь грести, работая только бицепсами; ведь он начал грести на виду у всех — надо же было показать себя мастером гребного спорта.

На корме уселся сам капитан, готовый править рулем ялика, — он, когда-то правивший боевыми кораблями.

Едва успели пройти метров пятьдесят, как впереди их шлепнулось в воду ядро, обдав их брызгами. Капитолина Петровна ахнула визгливо и припала головой к узлу, который держала на коленях (самый большой — с двумя подушками и одеялом). Оля смотрела на отца побелевшими глазами и с открытым ртом; у Вари выдавились сами собой слезы; Виктор, оглянувшись кругом, буркнул:

— Здорово лупят! — и продолжал грести.

Сам капитан серьезно исполнял обязанности рулевого, держа в руках мокрую бечевку руля.

Однако это было только первое ядро; вслед за ним, пока передвигался ялик к пристани Северной стороны, еще несколько ядер, — притом ядер каленых, — упало около него, точно там, на английских батареях, кто-то внимательно следил за ходом крошечного ялика и целился только в него.

Белые столбы воды всплескивались с шипом и шумом. И в то время,

когда не только Капитолина Петровна, Варя и Оля сидели, онемев от ужаса, но даже и Виктор как будто начал задумываться над будущим и временами не знал, куда ему будет лучше ударить веслами — вперед или назад, или влево, вправо, — старый отставной капитан воодушевлялся все больше и становился воинственным на вид.

В «Ягудиил», видимо, попали новые ядра или ракеты: он вспыхнул огромным костром у них на глазах, и капитан кричал, кивая на него сыну:

— М-мерзавцы, а? Не-го-дяи, — что делают!.. Не суши весел!.. Отдохнешь, когда причалим!.. Гребь!

И Виктор, хотя чувствовал, что немеют руки и вот-вот, пожалуй, начнет их сводить судорогой, греб исправно.

Добрались, наконец. Капитан направил ялик так, чтобы первой могла вылезть Капитолина Петровна со своим узлом. У него был вид победителя в серьезном сражении.

А ядра как будто гнались за ними, и одно упало в воду почти за кормою, обдав капитана с головы до ног.

Отряхиваясь, он вышел из ялика последним, и, точно став на твердую землю, он уже был застрахован от всяких покушений союзников, повернулся лицом в ту сторону, откуда летели снаряды, сделал самую язвительную мину, торжественно поднял правую руку, не спеша сложил заглодевшие пальцы в символический знак и прокричал:

— Что-о, Виктория? Шиш взяла?! На тебе... на!.. Шиш под нос! Шиш под нос!

Виктор постарался привязать ялик, оставив в нем весла, но только что отошли они всего шагов десять от берега, как новое ядро, нащупав, наконец, их спасителя, ударило в него яростно, и щепки брызнули высоко кверху вместе с фонтаном кипуче-белой воды.

IV

Когда Хлапониная услышала сквозь сон первые сигнальные выстрелы канонады, она тут же вскочила с постели, как подброшенная землетрясением, и посмотрела на свои маленькие часики, лежавшие на стуле у изголовья: было только половина седьмого.

— Так еще рано... и уже так страшно! — сказала она, хотя была одна в

спальне: муж ночевал там, на батарее, «подпиравшей», как он выражался, третий бастион.

Елизавета Михайловна уснула поздно и спала плохо, потому что с совещания у Корнилова вздумалось заехать к ней генералу Кирьякову. Конечно, этот слишком поздний и для нее неожиданный визит был подсказан начальнику ее мужа лишним стаканом вина, выпитого на квартире адмирала, но он объяснил свой приезд заботой о ней: он заехал будто бы только затем, чтобы предупредить ее о том самом, что и действительно началось в половине седьмого утра, — о канонаде.

Сначала он по-хозяйски звякал щеколдой запертой уже калитки. Она думала, что пришел муж, и открыла ему калитку сама, даже не спросив: «Кто там?» Она была так уверена — это вырвался к ней с батареи муж, — что даже вскрикнула радостно:

— Митя! Как же ты вырвался?

Но всадник около калитки отозвался раскатисто и знакомо по тембру голоса:

— Митю ждали?

И она еще пыталась догадаться, кто это, — ночь же была не из очень светлых, — как всадник добавил, спрыгнув с лошади:

— Митя ваш выполняет долг службы, а Ва-силиий счел долгом вас навестить, Елизавета Михайловна!

— Василий Яковлевич! — узнала она, наконец, Кирьякова, невольно отшатнувшись.

— Он самый... А где ваш личарда? Посмотреть бы надо за конем, чтобы кто не мотнул на нем в Бахчисарай, к татарам.

Она только что хотела сказать, что готова его выслушать здесь, у калитки, и «личарду» незачем будить, как услышала сзади себя поспешные шаги денщика, — шинель внакидку.

— Присмотри, братец, за конем! — начальственным баритоном приказал ему Кирьяков и только на дворе, звякнув шпорами и сняв на отлет фуражку, поцеловал ее руку.

На лестнице горела поставленная ею свеча в шандале, и она очень боялась, чтобы Кирьяков не двинулся туда, «на огонек».

И он действительно направился было «на огонек», но она остановила

его, взяв за локоть:

— Простите, Василий Яковлевич, в комнаты неудобно: там спят дети...

Они только что уснули, — мы их разбудим.

— Дети? Ваши дети? — очень удивился он.

— Не мои, моих знакомых, — храбро придумала она. — Они живут там, одним словом — слишком близко к бастиону...

Назвать какой-нибудь бастион точно она все-таки не решилась, добавила поспешно:

— Погода, впрочем, очень теплая... Вы что-нибудь мне хотели сказать? Вот тут в садике есть скамейка, пойдете.

— Да, да, сказать... кое-что сказать, именно!

Звякая шпорами, Кирьяков пошел за нею к скамейке в саду, скрывая, как ей показалось, недовольство таким оборотом дела за целой кучей бубнящих слов:

— Детям не здесь нужно быть, — их надо было отправить... Если они дети какого-нибудь обер-офицера, то ведь давали же пособия на отправку отсюда семейств бедных офицеров... А раз давали, то нужно было воспользоваться этим и за-бла-говре-менно их отправить, а не подбрасывать вам... О-очень хороши родители! Кто же они такие?

Хлапониная поспешила его успокоить, сказав, что это — дети одной чиновницы, которая собирается увезти их завтра же в Симферополь, уже нашла подводу и сговорила о цене.

— Завтра едва ли ей удастся это... э-э... так удобно, как сегодня она могла бы, — ворчливо говорил Кирьяков, садясь на скамейку рядом с нею.

И на ее испуганный вопрос, что ожидается завтра, — коротко, но выразительно ответил:

— Бойня!

Она даже не повторила этого слова вслух: оно было ясно без повторения. Она только сказала тихо:

— Вот видите!

Видеть же он, генерал Кирьяков, явившийся к ней так непозволительно поздно, должен был то, что ее маленькая ложь насчет спящих у нее чужих детей не только понятна, даже необходима в такое страшное время.

Он просидел с нею рядом на скамейке в саду недолго, минут десять, но все это время говорил сам; он был речист вообще, теперь же пытался быть красноречивым. Он дошел даже до того, что сравнивал ее с Еленой спартанской{30}... Наконец, с каким-то даже волнением в голосе спросил, будет ли ей хоть немного жаль его как человека, только как человека, — не как начальника 17-й дивизии, — если завтра, например, его, Василия Яковлевича Кирьякова, убьют нечаянно осколком снаряда, пущенного за две версты.

Разумеется, она сказала, что этого не может быть и она даже не хочет думать о подобном.

— Ну, а если не убьют, а так, слегка покалечат, а? Придете ли вы меня проведать, когда буду я лежать в госпитале? — спросил он, сжимая ее руку в своей.

— О-о, непременно, непременно! — совершенно искренне ответила она, стараясь все-таки высвободить руку.

— Я очень рад!.. Я вам верю и очень рад!.. Я, само собою, не хотел бы быть искалеченным, чтобы доставлять вам лишнее беспокойство, но когда, знаете ли, один адмирал тобою, а другой — и тобой и этим твоим командиром командует, то тут уж, хочешь или не хочешь, а жди всяких неприятных сюрпризов!

Он постарался успокоить ее насчет Дмитрия Дмитриевича, сказав, что артиллерия только пехоте причиняет большие неприятности, сама же вообще несет мало потерь, и ушел, наконец, расцеловав ей обе руки.

У нее же слово «бойня» так и звенело и стучало в мозгу, когда она легла в постель, и продолжало звенеть и стучать в течение всей почти ночи.

Она поспешно оделась и вышла из дому, когда уже все кругом звенело, стучало, стонало, грохотало и под ногами дрожала земля. Дышать было трудно, хотя до внутренних улиц города, по которым она шла, доходили еще только первые волны пушечного дыма. Солнце сквозь дым казалось тусклым; оно светило не сильнее луны в полнолуние. У домов толпились люди, совершенно потерявшие головы: никто не знал, что начать делать, куда именно, в какую сторону бежать, — если бежать, где и в чем спасение от того, что началось так ошеломляюще ужасно.

Так как Хлапони́на шла быстро и имела решительный вид, то встречные думали, что она знает, куда надо идти, где спасение. И она действительно знала, куда идет, и когда ее спрашивали: «Куда вы?» — она отвечала твердо, не останавливаясь однако: «В госпиталь сухопутных войск».

В городе был еще и морской госпиталь, гораздо больший и лучше обставленный, чем сухопутный, но она думала, что ее мужа, если его ранят, доставят в сухопутный, а не в морской.

Морской госпиталь был на Корабельной стороне; сухопутный — тоже за городом, между пятым и шестым бастионами.

Она повернула с Малой Офицерской на Офицерскую, потом вышла на Екатерининскую; дальше переулками выбралась за город, и, чем дальше шла, тем чаще и пронзительнее визжали над нею или в стороне от нее багровые и черные, как большие мячи, ядра.

Их визг почему-то был различим даже при том грохоте пушечной пальбы, от которой дрожала земля.

«Какой пронзительный!» — ошеломленно шептала Хлапони́на, быстро все-таки подвигаясь вперед, как лунатик. Она изо всех сил старалась не думать» что какое-нибудь ядро может попасть в нее. Почему же в нее? Зачем непременно в нее? Так много места кругом, — совершенно пустого места, — куда падают эти ядра и будут падать, а она... Она казалась себе самой почти невесомой, почти не занимающей пространства...

Между домами, даже на окраине, было легче идти, чем на пустыре, отделяющем госпиталь от города. Двухэтажное длинное здание госпиталя было уже видно, — она не сбилась с дороги, — но видно как-то очень смутно: частью от деревьев, которыми оно было окружено, частью от порохового дыма.

Здесь пальба гремела, как бесконечный гром, когда молнии, одна за другою, безостановочно и ослепительно блещут над самой головой.

И в то же время ядер, гранат и бомб в небе виднелось здесь гораздо больше, чем в городе, и визжали они пронзительней. Испуг так было охватил ее здесь, что она остановилась и оглянулась назад. Но вот различила она там, у ворот госпиталя, будто принесли кого-то тяжело раненного, конечно на носилках, и принесли оттуда, со стороны

третьего бастиона... Она подобрала левой рукой платье и побежала туда, к этим носилкам.

Через полчаса комендант госпиталя, пожилой сановитый полковник, и старший врач — зеленоглазый, бровастый, крупноносый, бритый старик в запачканном кровью белом халате — требовали, чтобы она оставила госпиталь, так как «это не полагается».

Но она, которой накануне вечером целовал руки начальник всех сухопутных войск Севастополя генерал Кирьяков, уходить не хотела.

— Что именно, что такое не полагается? — отнюдь не робко спрашивала она.

— Никаких в военных госпиталях женщин не полагается по уставу, — объяснял ей полковник, а врач добавлял:

— Это, прошу понять, внести может сумятицу разную неподобную в обиход госпиталя, — поняли?

Но она не понимала, она говорила горячо:

— Сюда могут принести мужа моего, — он командир батареи, — и я отсюда никуда не пойду, — так и знайте!

— Госпиталь обстреливают, — кричал ей полковник, — сейчас только что трубу снесло ядром!.. Мы и в том не уверены, что сами живы останемся, а как мы можем отвечать за вашу жизнь?

— Вам не нужно будет отвечать за меня никому! — кричала и она, потому что от грохота канонады тряслись стены и дребезжали окна. — Я буду делать тут у вас все для раненых, что мне прикажут, но чтобы я ушла отсюда — ни за что!

Полковник с врачом переглянулись, пожали плечами и разошлись, оставив ее: и у того и другого слишком много было дела, чтобы тратить время на споры с женщиной.

Хлапоница осталась в госпитале.

V

На пятый бастион, где встретился он с Нахимовым, Корнилов попал, побывав уже на четвертом.

Четвертый его беспокоил еще накануне: ему казалось, что батареи англичан и французов сознательно ставились так, чтобы взять именно этот бастион под перекрестный огонь.

Когда он с несколькими из своих флаг-офицеров скакал к четвертому, то сам ловил себя на том, что чувствовал какой-то давно небывалый подъем, как будто в этот именно день его ожидала большая удача.

От каких-то странных и томящих предчувствий, вызвавших его беседу с Нахимовым накануне, не оставалось и следа. Напротив, он был теперь в той же запальчивости бойца, которой отдался, когда, например, хотел догнать турецкий пароход «Таиф» под Синопом, несмотря на то, что «Таиф» был вооружен гораздо сильнее и имел лучший ход, чем его «Одесса», так что впоследствии он сам сравнивал тогдашнего себя с зарвавшейся гончей, которая в одиночку думает взять матерого волка.

Он хотел объяснить себе теперь этот свой подъем и вспомнил, что такое случилось после ухода Нахимова.

Память вытолкнула три таких удачных хода в той игре со смертью, какую он вел: в письме Меншикова, которое курьер привез ему уже после ухода Нахимова, сообщалось, что прибыла 12-я дивизия генерала Липранди, — это был самый удачный ход; затем еще — что Тотлебен и другой очень способный военный инженер Ползиков, по его представлению, произведены в полковники, с чем их и можно поздравить; кроме того, удалось вспомнить вчера о массивных золотых отцовских часах, которые у него были, вспомнить затем, чтобы отправить их жене в Николаев.

Как ни странно было ему самому сопоставлять эти три удачных хода, но они сопоставлялись как-то сами собой, помимо его воли: чуть только возникала в мозгу 12-я дивизия, делавшая армию Меншикова вдвое сильнее, тут же прицеплялись к ней с одной стороны два полковника инженерных войск; с другой — отцовские золотые часы.

Об этих часах он думал, что передаст их капитан-лейтенанту Христофорову вместе с письмом жене и скажет: «Боюсь, чтобы здесь их как-нибудь не разбить, а они — вещь все-таки ценная для меня, потому что достались мне от отца... Пусть и от меня перейдут к моему старшему сыну...»

Лошади, сначала скакавшие бодро, стали пятиться, взвиваться на дыбы и бросаться в стороны, когда невдалеке уже был четвертый бастион, действительно попавший под перекрестный огонь. То и дело

падали кругом то английские, то французские снаряды, а две полевые батареи, «подпиравшие» четвертый бастион, посылали свои снаряды одна в сторону французов, другая — в сторону англичан. Было от чего артачиться лошадям.

Четвертым бастионом командовал Новосильский, произведенный в вице-адмиралы за Синопский бой. Он был первым в этот день, испуганно встретившим не бомбардировку англо-французов, а очень любимого им Корнилова на своем бастионе.

— Зачем вы в этот ад, Владимир Алексеевич? — сказал он, крепко (он был человек сильного сложения) пожимая тонкую руку Корнилова.

— Как — зачем?.. Чтобы знать, что мы делаем...

Оглянувшись кругом, Корнилов добавил:

— И что делают с нами!

На бастионе были уже подбитые орудия, разбитые в щепки лафеты, валялись убитые и тяжело раненные...

— Почему не выносят убитых и раненых? — удивился Корнилов такой нераспорядительности боевого адмирала.

— Нет людей для этого, — ответил Новосильский. — Несем большие потери от перекрестного огня... Артиллерийская прислуга вся на счету... Требуется частая замена людей у орудий...

— Нужно будет из арестантов, не прикованных к тачкам, спешно составить команды санитаров, — решил Корнилов и подошел к ближайшему комендору-матросу посмотреть его прицел.

Новосильский наблюдал его с большой за него тревогой, а он держался совершенно неторопливо, точно у себя в кабинете. От первого комендора перешел ко второму, к третьему, прошел не спеша через весь бастион, дошел до батареи и «грибка» на бульваре (который получил впоследствии название «Исторический бульвар») и оттуда так же спокойно повернул назад и снова вышел к правому фасу бастиона.

Провожая его, Новосильский сказал ему:

— Владимир Алексеевич! Не примите за совет, — это моя, и знаю, что не моя только просьба: поберегите себя, поезжайте прямо домой!

— От ядра ведь не уйдешь, — улыбнулся ему, садясь на лошадь, Корнилов. — Арестантов же для уборки раненых и убитых я пришлю.

Но он поехал не в город, а на пятый бастион, где рядом с Нахимовым стоял на бруствере, чтобы лучше разглядеть в трубу, как падают снаряды в укрепления противника.

Нахимов был доволен, что кровь в его небольшой ране над виском запеклась, что не нужно вытирать щеку платком и что Корнилов ничего не заметил.

Это была приманчивая для неприятельских артиллеристов цель. Кроме двух адмиралов, тут стояли по обязанности и три адъютанта Корнилова, и флаг-офицер Нахимова, и командир бастиона Ильинский.

Ядра свистели пронзительно кругом, делая свое страшное дело; землю и кровью убитых обдавало адмиралов и их свиту, но они заняты были наблюдением такой же точно картины в стане противника и не двигались с места. Это было, может быть, только щегольство личной храбростью и могло бы продолжаться так долго, как позволила бы плохая наводка неприятельских комендоров, но Нахимов, наконец, как бы очнулся и, взяв за локоть Корнилова, решительно свел его вниз под прикрытие.

— Ваше превосходительство! — обратился к Корнилову Ильинский. — Ваша жизнь слишком дорога для Севастополя... Простите, но я вас очень прошу оставить бастион!

Нахимов смотрел на Ильинского поощрительно и кивал в знак согласия головою. Корнилов же, не отвечая, наклонился над орудием, проверяя прицелку.

— Ваше превосходительство, — продолжал, заходя с другой стороны, Ильинский, — беру на себя смелость доложить, что своим присутствием на бастионе вы показываете недоверие ко всем нам — к офицерам, к матросам, к солдатам...

— Все вы выполняете свой долг прекрасно, — отозвался, наконец, Корнилов, — но у меня тоже есть долг: всех вас видеть!

И он пробыл на бастионе еще с четверть часа и увидел не только спокойную, бесстрашную работу молодцов-матросов, солдат и офицеров, причем на место убитого или раненого у орудия сейчас же, без команды, становился другой, и каждый разбитый лафет заменялся

новым с тою же быстротою, какая требовалась на судах во время учения: он увидел еще и матросских жен — толпу баб в скромных платочках на головах и с кувшинами в руках.

Кувшины были то глиняные, то жестяные, и у каждой, кроме них, были еще и узелки с тарелками и мисками — домашняя снедь. Их не пускали на бастион, они толпились сзади, эти бесстрашные бабы, около оборонительных казарм и барачков, кое-где уже полуразваленных бомбами.

Корнилов испугался за них, — снаряды падали неистово часто.

— Кто вы такие? Куда? Зачем?

— Водички вот, водички холодненькой своим принесли... Душу промочить... Душа-то горит небось али нет?

Бабы даже показывали Корнилову на свои загорелые шеи, не надеясь, что в таком несусветном шуме и громе расслышит он их, хотя и голосистых, и не считая необходимым держать руки по швам при разговоре с таким высоким начальством.

Корнилов справился, есть ли вода на бастионе; бабы оказались правы: воды не было, и души у матросов около орудий действительно горели.

Воду, правда, привезли с утра и успели наполнить ею корабельные цистерны, но частью ее уже успели выпить, частью вылили на орудия, которые слишком нагревались от безостановочной пальбы, а в одну цистерну угодило неприятельское ядро и разбрызгало и разлило драгоценную влагу.

Одного из своих адъютантов — лейтенанта Жандра — Корнилов сейчас же отправил в город наладить подвоз воды ко всем бастионам, а кувшины и узелки бабы приказал передать по назначению.

— А сами идите скорей домой, пока живы! — сказал адмирал бабам.

— Как же так — домой, без посуды? — удивились такой несообразности бабы. — Еще пропадет тут, в содоме таком. Где ее тогда искать?.. И своих тоже повидать бы хотелось...

Бабы так и не двинулись, — двинулся Корнилов со своими флаг-офицерами на шестой бастион.

Зарубины по сыпучему песку Северной стороны дотащились туда, где, — они заметили это издали, — в безопасном от снарядов и даже сытном месте, около кухонь резервного батальона Литовского полка, расположились со своими саквяжами и узлами все бежавшие из города.

Витя огляделся и вдруг, совсем неожиданно для себя, заметил своего товарища Боброва, также юнкера гардемаринской роты.

Бобров, тех же лет, что и он, встретившись с ним глазами, тут же отшатнулся и спрятался за спинами своих семейных.

Витя понял это движение, потому что ему тоже хотелось в первый момент спрятаться за отца от Боброва. Но момент этой обоюдной неловкости прошел, и мальчики в форме гардемаринов бросились один к другому.

— Ты что тут делаешь? — спросил Витя, как будто даже с надеждой на то, что тут можно что-то такое делать им, юнкерам, а не сидеть, подпирая солдатскую кухню.

— Я вот — переехал со своими; перепугались, — конфузливо объяснил Бобров, ростом немного повыше Вити, но тоньше его и с девичьим лицом.

Витя знал, что отец Боброва служил в порту: к такой нестроевщине, хотя и в чинах морских офицеров, у них в роте относились несколько свысока.

— Я тоже своих переправил с Екатерининской, — сам греб, — отозвался он как мог небрежнее. — Яличник струсил, — ни за какие деньги не соглашался грести.

— А на чем же ты переправился?

— На ялике же... Мы его купили, только его ядром разбило.

— Сочиняешь?.. А как же вы спаслись?

— Ты думаешь, ты один умный? Ядро, брат, тоже не из глупых; разбило ялик, когда мы уже высадились.

— Вот черт!.. Если ты не врешь, — очень жалко!

— Я, брат, раньше тебя пожалел!.. Был бы цел ялик, ты думаешь, я бы здесь остался?

Вид у Вити был бравый, Боброву не нужно было доказывать ничего больше: он знал Витю и если не совсем верил в историю с яликом, то

признавал, что она все-таки могла бы быть на самом деле. Отстать от Вити не позволяло ему самолюбие, и он заметил:

— Можно попробовать дойти до пристани, а там...

— Пойдем, — тут же, решительно взяв его за руку, сказал Витя.

Они оба уже и теперь стояли в стороне от своих. Бобров нерешительно оглянулся. В толпе у кухонь у всех нашлись общие знакомые. Его семейные затерялись между другими. Витя смотрел на него неумолимо требовательно. Отказаться было нельзя.

— Пойдем... только...

— Что — только?

— Надо так, чтобы не заметили, — сконфузился Бобров, и Витя тут же нашел, как это сделать, чтобы не подняли тревоги востроглазые его сестры Варя и Оля.

— Сейчас давай разойдемся, а то догадаются. Потом поодиночке выйдем вон туда на дорогу, а там сойдемся: Есть?

— Есть, — отозвался Бобров, тут же от него отходя.

Минут через десять они сошлись на дороге к пристани в таком месте, которое не было видно толпе у кухонь.

Но только что они успели сойтись, как увидели своего офицера: лейтенант Стеценко в сопровождении двух казаков скакал к пристани, куда воровато направились они.

Они вытянулись во фронт. Стеценко придержал лошадь.

— Вы что здесь? — крикнул он.

— Перевезли свои семейства! — ответил за обоих Витя.

— А-а!.. Переправа под обстрелом?

— Так точно, ваше благородие!

Стеценко кивнул головой в знак трудности положения и помчался дальше, а оба юнкера поглядели друг на друга так, как будто получили то, чего им не доставало: приказание своего ближайшего начальника идти не куда-то вообще, а именно туда, на пристань, где переправа под обстрелом противника.

Они знали, конечно, что Стеценко теперь адъютант князя Меншикова, и не сомневались в том, что он послан в город с каким-то приказом князя.

Приказ действительно был: Стеценко был послан на пристань

подготовить баркас или шлюпку с гребцами для переправы князя в город: командующий войсками Крыма хотел своими глазами видеть, как отбивается от англо-французов твердыня Крыма.

Витя и Бобров шли к пристани, не оглядываясь назад. Они видели, как засуетились на пристани, готовя шлюпку, но не для лейтенанта Стеценко, — для самого князя, который прискакал со свитой в шесть человек. Из флотских были при нем барон Виллебрандт и мичман Томилин. Последнему, который был старше каждого из них всего пятью-шестью годами, мальчишки позавидовали от души.

Переехать в одной шлюпке с князем нечего было и думать; от него они прятались. Они знали, что он приказал распустить роту юнкеров не затем, чтобы юнкера рвались туда, где рвутся бомбы. Но когда светлейший, усевшись в шлюпку с адъютантами, отчалил, а лошадей повели грузить на плоскодонный баркас, то кто же мог запретить им устроиться на том же баркасе?

И они устроились, и снова перед глазами Вити стали чертить густой дымный воздух над Большим рейдом снаряды; из Южной бухты выходили транспорты «Дунай», «Буг», «Сухум-Калэ», спасаясь от сильнейшего обстрела; «Ягудиил» — в который уже раз! — загорелся снова, а в городе на одной из церквей очень заметен был подбитый ядром и повисший крест колокольни.

Прибыв к Екатерининской пристани, светлейший со свитой не ждал баркаса с лошадьми и пошел к библиотеке Морского собрания. Витя и Бобров сияли от своей удачи: они были в городе, в котором то справа, то слева падали ядра и рвались бомбы, и идти можно было куда угодно.

Но им хотелось прежде всего знать, зачем сюда переправился Меншиков. Может быть, думает он двинуть на союзников свою армию с Бельбека во фланг? Но что же может он рассмотреть в телескоп с библиотеки, когда на сухопутье везде такой сплошной дым?

Они дождались минуты, когда князь спустился, сел на лошадь; за ним очень бодро вскочили на лошадей своих Стеценко, Виллебрандт и другие, потом двинулась кавалькада.

— Куда он? — спросил Бобров Витю.

— Неужели на Корабельную? — недоуменно спросил Боброва Витя.

VII

Когда Корнилов вернулся с бастиона в город, было уже девять утра. Он хотел было двинуться прямо на Малахов, к Истомину, но вспомнил об арестантах и поскакал к острогу.

— Вызови караульного начальника, — приказал он часовому.

Часовой ударил в колокол.

— Ну, не дико ли это? — обратился Корнилов к одному из своих флаг-офицеров, капитан-лейтенанту Попову. — Тут адская канонада, — я боюсь, что у нас и снарядов не хватит: с часу на час ожидаем штурма, — а колодники сидят за решетками и при них караул, как в мирное время!

Вышел на вызов часового караульный начальник, подпоручик Минского полка, и застыл в ожидании с рукой у козырька.

— Сделайте вот что, — обратился к нему Корнилов. — Сейчас же всех арестантов, не прикованных к тачкам, ведите на Малахов. Я буду туда следом за вами и распоряжусь, что вам делать.

— Ваше превосходительство, караульный начальник... не имеет права отлучаться со своего поста! — несколько запинаясь, ответил подпоручик адмиралу, явно как будто незнакомому с уставом гарнизонной службы.

— Вы знаете, кто я?.. Я — Корнилов!

— Так точно, знаю, ваше превосходительство...

Подпоручик смотрел на адмирала, как полагалось смотреть на высшее начальство, но не поворачивался кругом, щелкнув по форме каблуками, и не мчался опророметью исполнять приказ, столь странный для его сознания.

— Над вами есть дежурный по караулам, кроме того — тюремное начальство, — заметил его замешательство Корнилов. — Вот вам моя визитная карточка, — это взамен моего письменного приказа вам. И сейчас же выводите всех арестантов на плац.

Только получив карточку, повернул налево кругом подпоручик и пошел к воротам острога, четко отбивая шаг.

Острог был большой. До тысячи арестантов, исполняя приказ, высыпало минут через десять из ворот на площадь. Они были

возбужденно-радостны, как будто получали полную свободу, а эта свобода была только подаренная им возможность умереть на бастионе.

Но человек завистлив: колодники, прикованные к тачкам, подняли крик, чтобы выпустили и их туда, где сражаются с врагами.

— Какие люди! Какие прекрасные люди! — растроганно говорил о них Корнилов флаг-офицерам и приказал сбить кандалы со всех, чтобы ни одного человека, кроме больных, не оставалось в этих мрачных казематах.

Бритоголовые, в странных здесь, вне острога, арестантских бушлатах и серых суконных бескозырках, бородатые, бледные тюремной бледностью люди сами строились в шеренги, а когда построились наконец, Корнилов прокричал им в неподдельном волнении:

— Братцы! Теперь не время вспоминать ваши вины, — забудем их! Вспомните, что вы русские, — слышите, как громят Севастополь враги, — идем защищать его!.. За мною! Ма-арш!

— Ура-а-а! — далеко перекричали канонаду арестанты и двинулись за Корниловым, сами соблюдая равнение и ногу.

Флаг-офицерам показалось несколько неудобным ехать впереди арестантов; но канонада, доносившаяся со стороны Малахова кургана, была гораздо внушительнее и грознее, чем там, на пятом и шестом бастионах, и всем страшно было за пылкого адмирала.

Никто из них, и сам Корнилов также, ничего еще не ел и не пил с самого утра, и всем хотелось выпить хоть по стакану чаю; поэтому один из них, Лихачев, напомнил Корнилову, что буйки накануне расставлялись противником недаром, и не худо бы на всякий случай посмотреть с библиотеки на море, не собираются ли и оттуда тучи.

— Вы правы, — согласился Корнилов, — а я совсем как-то выпустил это из вида... Конечно, мы должны ждать еще сюрприза и с моря.

И батальон арестантов пошел дальше, а Корнилов повернул к библиотеке.

Но сколько ни стремились все разглядеть что-нибудь подозрительное в море перед рейдом, там было пустынно; эскадра же союзников стояла, как и раньше, у устья Качи.

В двух шагах от библиотеки был дом Волохова, и Корнилов вспомнил,

что там дожидается его, чтобы ехать курьером в Николаев, капитан-лейтенант Христофоров, а у него еще не дописано начатое было письмо жене.

И он зашел к себе на квартиру, наскоро, обжигаясь, проглотил стакан горячего чаю, наскоро дописал письмо жене и передал его Христофорову вместе с отцовскими золотыми часами и только что приготовился выйти, чтобы ехать на Малахов, как вошел лейтенант Стеценко.

— Ваше превосходительство, его светлость просит вас к себе.

— Вот как! Он здесь! Где именно?

— Возле библиотеки.

— А я как раз собрался ехать на Малахов.

— Его светлость только что оттуда.

— А-а! Ну, что там, как?.. Я только что послал туда арестантов.

— Мы их встретили, ваше превосходительство.

Стеценко не сказал, конечно, Корнилову, что, встретив колонну арестантов и узнав, куда они идут и кто их послал, Меншиков сделал одну из своих гримас, в которые умел вкладывать, по обыкновению, очень много невысказанного, неудобного для высказывания вслух.

Корнилов тотчас же сел на еще не остывшую лошадь, и около библиотеки съехались два генерал-адъютанта.

— А я и не предполагал, что застану вас дома, Владимир Алексеевич,

— сказал, здороваясь, Меншиков.

Почувствовав какую-то неприязнь и колкость в этих словах, выпрямился на седле Корнилов.

— Я объехал первую и вторую дистанцию, ваша светлость!

— Ах, вы уже были там! Ну, что?

— Когда я был на шестом бастионе, слышен был сильный взрыв на французской батарее, — взорвался пороховой погреб.

— А-а! Это хорошо!

— Я уехал успокоенный, ваша светлость. Французов мы заставим замолчать, и очень скоро.

— Да, мне тоже кажется, — если мне не изменяет слух, — что с той стороны, от Рудольфа, канонада стала слабее, зато у Истомина очень жарко. Там мы несем большие потери.

— Я думаю, что и англичане тоже... Сейчас я поеду туда.

— Но если вы говорите, что французские батареи вот-вот будут к молчанию приведены, тогда я, стало быть, видел самую жестокую картину артиллерийского боя... Ну что ж... лишь бы хватило снарядов... Надо позаботиться о снарядах.

— Трех офицеров я назначил, ваша светлость, следить за доставкой снарядов на батареи... что же касается фортов, если вздумает пожаловать к нам эскадра, то они получили достаточный запас...

— Я имею в виду, что атака с моря будет непременно, не нам с вами ее накликать, но она как будто даже запоздала несколько... В таком случае мне, я думаю, лучше проверить готовность фортов Северной стороны.

И Меншиков двинулся к Екатерининской пристани, до которой провожал его Корнилов.

Князь расстался с Корниловым очень любезно, но в тоне, каким он просил его беречь себя и не рваться на явную опасность, почудилась Корнилову какая-то скрытая, далеко затаенная насмешка, и еще ядовитее показались первые его слова: «А я и не предполагал, что застану вас дома!»

Канонада гремела; ядра падали около и выбрасывали камни мостовой на тротуар; Южная бухта будто кипела от обилия разрывавшихся над ней конгревовых ракет, от каленых ядер и бомб, щедрой рукой посылавшихся с английских батарей; но едва только отчалила от пристани и пошла в очень опасный путь шлюпка с князем и его адъютантами, Корнилову будто даже в виски ударила изнутри эта спрятавшаяся на время насмешка: «Не предполагал, что застану дома!»

Не раз приходилось говорить самому Корнилову о Меншикове, что он просто бежал из Севастополя в Бахчисарай, оставив город и порт без защиты. И вот теперь, — нужно же было так случиться! — он, этот беглец, возвращаясь с опаснейшего участка обороны, застаёт его дома, за чаем!

Флаг-офицеры его, благодаря которым попал он не на Малахов впереди колонны арестантов, а домой, сразу стали ему противны, и он разослал их с приказаниями — одного по доставке снарядов на

батареи, другого — по уборке раненых и убитых в городе; с ним остался только лейтенант Жандр, наиболее скромный и молчаливый.

Ненужно горяча лошадь, Корнилов поскакал по Екатерининской улице к театру, около которого стояли резервные части; посмотрел, как они укрыты от снарядов противника, справился, много ли потеряли людей. Кирьякова предупредил, что штурма, по мнению светлейшего, можно ожидать скорее всего со стороны Малахова кургана, но когда Кирьяков упорно почему-то начал уверять его, что он ждет штурма отнюдь не там, а со стороны четвертого бастиона, что весь его военный опыт говорит именно за это, — Корнилов направился на близкий от площади четвертый бастион снова.

Там представился ему новый начальник штаба генерала Моллера, — то есть его штаба, — присланный из Петербурга полковник Попов, о котором накануне писал ему Меншиков.

Корнилов думал встретить в нем самоуверенного знатока военных дел, как все штабные в полковничьем чине; но перед ним стоял сырого вида и значительно уже оглушенный канонадой человек, который слушал его открытым ртом, а говорил — казалось так — ерзавшими вверх и вниз по лбу толстыми каштановыми бровями: он имел слабый голос, и слов его не было слышно из-за непрерывной пальбы.

Однако Корнилов заметил, что убитые и тяжело раненные не валялись уже теперь здесь и там, как было это в его первый приезд; они были убраны, хотя сюда и не были направлены им арестанты, как он обещал Новосильскому.

От орудий шел пар, заметно белевший на фоне сплошного дыма, — их обильно поливали водой, значит, успели уже подвезти бочки. Комендоры сбросили с себя мундиры: слишком жарко было около орудий.

Улучив момент, Попов доложил, что был командирован военным министром, князем Долгоруковым, с назначением начальником штаба не крепостных, а полевых войск армии Меншикова, но командуя армией решительно заявил, что начальник штаба ему не нужен, так как у него нет штаба и он не собирается его заводить.

— Поэтому его светлость и откомандировал меня к вам, — закончил в новый, тихий сравнительно момент полковник и этим еще больше

понравился Корнилову.

— Буду благодарить за вас князя! — прокричал он Попову. — Вижу, что нам принесете вы большую пользу!

Попов преданно наклонил голову.

Потом он ехал верхом рядом с Корниловым уже как признанный начальник штаба гарнизона крепости, обязанный до мелочей знать все, что делается для обороны.

Между бараками четвертого бастиона, по горе, над бульваром, по которому точно прошел ураган, заваливший буреломом аллеи, он рысил осторожно, держась в отдалении от редута «Язона», где команда с брига этого имени стояла около двух батарей своих бомбических орудий.

— Генерал Кирьяков убежден, что штурмовать нас готовятся союзники именно с этой стороны, — говорил Корнилов. — Поверим его опытности... В таком случае вам придется остаться здесь, на второй дистанции.

— Слушаю, — я сам того же мнения, — с готовностью отозвался Попов.

— Но я был на третьем бастионе. Туда направлен весьма сосредоточенный огонь. Штурмовать нас могут и оттуда тоже.

— Вот видите, а мне никто не донес, — встревожился Корнилов. — Тогда я поеду прямо на третий бастион.

Попов посмотрел на него испуганно.

— Ваше превосходительство! Считаю своим долгом вам доложить, что третий бастион... очень опасен, — проговорил он, поднимая брови. — Там большая убыль людей, ваше превосходительство!

— Вот видите, а мне это не было известно, — и Корнилов послал лошадь вперед.

— Ваше превосходительство, — Попов тронулся следом за ним, — в Петербурге... я получил приказ военного министра оберегать вашу личную безопасность!

— Но ведь вы такой же самый приказ получили, конечно, и относительно князя Меншикова? — улыбнулся слегка Корнилов.

Однако Попов возразил весьма живо:

— Никак нет, ваше превосходительство, — о князе Меншикове в этом смысле ничего не было сказано.

— От смерти не уйдешь, — улыбнулся снова Корнилов и протянул ему руку на прощание.

Жандру же он сказал по дороге на третий бастион:

— Наш начальник штаба, кажется, знает свое дело, почему от него и отказался князь... Кроме того, он по всей видимости очень хороший человек, а?

— Позвольте и мне быть тоже хорошим человеком, — горячо отозвался на это обычно молчаливый Жандр. — Если у нас есть теперь начальник штаба, то должен быть и неподвижный штаб, ваше превосходительство, и непременно в центре города, а не на бастионах, с которых в штаб должны поступать донесения!

— Так что мое место, по-вашему, где же должно быть? — удивленно спросил Корнилов.

— В доме Волохова, ваше превосходительство, — очень твердо ответил лейтенант.

Корнилов поглядел на него искоса, но ласково и сказал:

— Я вижу, что вам хочется просто попить чайку!

Из-за бульвара навстречу им показались тоже двое конных: это был Тотлебен с ординарцем, и Корнилов был непритворно обрадован, увидя его.

— Поздравляю с чином полковника! — крикнул он ему шага за три.

— О-о, благодарю, благодарю вас! — не столько радостно, сколько как будто оторопело ответил на это Тотлебен, подъезжая.

Он знал, что представление об этом было сделано адмиралом еще до сражения на Алме, и неожиданного в поздравлении Корнилова было только то, что производство почему-то не затянули, как обычно.

— Откуда вы, Эдуард Иванович?

— Я объехал все укрепления Корабельной стороны... Они держатся, но... но мне бы хотелось, чтобы они наносили большой вред противнику. Этого, последнего я не заметил.

Подробно и обстоятельно докладывал он Корнилову о том, что им было замечено на Малаховом кургане и на соседних редутах.

— А как третий бастион? — спросил Корнилов.

— Я только что оттуда сейчас... Против него действуют очень сильные батареи... Он отбивается, конечно, как может, но... явный перевес на

стороне англичан.

— Я сейчас еду туда, — заторопился Корнилов, но Тотлебен совершенно непосредственно спросил:

— Зачем, ваше превосходительство? — и с тою обстоятельностью, которая его отличала, добавил: — Существенную пользу там могла бы оказать батарея шестидесятивосьмифунтовых орудий, если бы мы имели возможность туда их доставить немедленно и... и невидимо для противника... Но если мы продержимся до ночи, то есть если штурм сегодня не состоится, то третий бастион мы укрепим ночью.

— Очень жалею, что я не поехал туда раньше, — сказал Корнилов, прощаясь, а Тотлебен припомнил тем временем, что еще нужно доложить адмиралу:

— Замечено мною с башни Малахова кургана, что эскадра союзников покинула устье Качи.

— Покинула, и?.. — живо спросил Корнилов.

— Держит направление на Севастополь, ваше превосходительство.

— Наконец-то! — Корнилов повел шеей, как будто сразу стал узок ему воротник сюртука. — Значит, скоро начнется вдобавок ко всему еще и атака с моря... А вы, — он укоризненно повернулся к Жандру, — додумались при таких обстоятельствах до неподвижного штаба!

VIII

На третьем бастионе было несколько флотских офицеров: два капитан-лейтенанта — Рачинский и Лесли, лейтенант Ребровский, мичман Попандопуло, а также много матросов, которые в конце сентября были участниками вылазки, очень удачной и стоившей очень дешево в смысле жертв. Поэтому с самого начала артиллерийского поединка настроение тут было приподнятое, несмотря на сильнейший огонь, сразу развитый английскими батареями.

Наперебой кидались офицеры к орудиям, чуть только выходили из строя убитыми или ранеными матросы-комендоры, и сами становились на их места, пока подспевала смена.

Это был исключительно жизнерадостный бастион, несмотря на явную и страшную смерть, которая неслась к нему с каждым огромным снарядом осадных орудий, и поддерживал жизнерадостность эту

Евгений Иванович Лесли, неистово веселый, как будто все еще продолжалась вчерашняя пирушка, только под неистово трескучий оркестр орудий, разрыв гранат и бомб и тяжкое шлепанье ядер.

Шутка ли, сказанная всегда метко ближайшим, а потом переданная от одного к другому во все углы бастиона; ходовое ли, всем известное, словцо, которое всегда в трудных обстоятельствах бывает кстати, лишь бы кто-нибудь вспомнил его вовремя; просто ли бесшабашный жест, или яркая усмешка, способная далеко блеснуть даже и сквозь густой пороховой дым, — все это, исходя от одного Лесли, общего любимца, действовало на всех кругом, как праздничные подарки на детвору.

И этот бастион был бы непобедимейшим участком оборонительной линии, если бы было на нем больше крупных морских орудий и меньше мелких, поставленных здесь для отражения штурма, до которого было еще далеко.

Пятый бастион, на котором был Нахимов, заставил замолчать французские батареи уже к одиннадцати часам.

Кроме того взрыва порохового погреба, о котором говорил Меншикову Корнилов, там вызван был удачным выстрелом другой взрыв, отчетливо видный всем с пятого и шестого бастионов по огромному столбу черного дыма и встреченный громовым «ура» всей линии. После этого взрыва огонь французов все слабел и чах, наконец потух совершенно, пальба оттуда умолкла, и на бастионе-победителе могли заслуженно отдохнуть и начать перевязывать свои раны.

Но французские батареи расположены были гораздо ближе английских, что явилось ошибкой французских инженеров, и большей частью скучены были на Рудольфовой горе, что явилось второй ошибкой.

Совсем иначе разместили свои батареи англичане.

Кроме того, что они были поставлены далеко, так что только дальнобойные русские орудия могли состязаться с ними, они были развернуты в широкий охват, и скученными по сравнению с ними оказались уже русские батареи, потому редкий выстрел английских мортир и пушек пропадал даром.

Молодой Попандопуло был ранен в грудь осколком снаряда около

восьми утра. Он был в сознании, когда его подхватили матросы и отнесли в укрытое мешками место.

К нему подошел отец и с первого взгляда увидел, что рана была смертельна.

— Потерпи, Коля, скоро увидимся! — прокричал он на ухо сыну, благословил его, поцеловал в лоб, сморгнул слезу с ресниц и отошел к орудиям.

Вскоре был убит ядром Ребровский...

Комендоры выбывали один за другим... И когда Корнилов добрался через Пересыпь, у оконечности Южной бухты, до третьего бастиона, он увидел далеко не то, что видел на пятом, на шестом, даже на четвертом.

Бараки и казармы здесь уже лежали в развалинах. Поодаль от них, оставшись без прикрытия, стояли матросы и солдаты. Земля была сплошь изрыта, как вспахана глубоким плугом, и в больших ямах от взрывов бомб образовались как будто склады закатившихся сюда ядер внушительных размеров.

— Ого! — многозначительно сказал Жандру Корнилов. — А вы еще мне говорили, что мне сюда незачем ехать!

Однако возле орудий Корнилов не заметил растерянности. Правда, часть их была уже подбита и поникла; несколько лафетов были раздроблены в щепки и не заменялись новыми; но остальные орудия отстреливались азартно — с большим подъемом.

— Я мало вижу офицеров, — заметил Корнилов командиру бастиона.

— Офицеры на местах, другие же выбыли из строя, Владимир Алексеевич, — ответил, забывая о чине Корнилова, Попандопуло.

— Выбыли?.. Я не вижу Рачинского...

— Только что вынесено тело: убит ядром.

— Рачинский убит. Какая жалость!.. А лейтенант Ребровский?

— Убит раньше.

— Прекрасный был офицер!.. А где же... — Корнилов запнулся, еще раз оглядел на бастионе все, что не совершенно скрывал из глаз дым, и dokonчил: — На этой батарее ведь был ваш сын, насколько я помню...

— Отправлен в госпиталь. Ранен в грудь смертельно.

Корнилов порывисто обнял капитана и пошел с ним рядом дальше, уже не спрашивая о потерях.

Но дальше трудились офицер, стоявший спиной, и матросы, поправляя амбразуру, заваленную ядром, и даже сквозь грохот выстрелов при этом слышны были взрывы громкого матросского смеха.

— Кому это тут так весело? — в недоумении спросил Корнилов шедшего ему навстречу командира всей артиллерии дистанции, капитана 1-го ранга Ергомышева.

— А! Это Лесли, — поздоровавшись с адмиралом, ответил Ергомышев с улыбкой.

— А ну-ка, этого младенчика — в люльку! — донесся до Корнилова голос Лесли. — Держи его за уши! Пра-аз!.. Есть! Лежи, мерзавец!

И поднятый им вместе с матросами худой мешок, из которого сыпалась земля, лег на своем месте в щеке амбразуры.

— Bravo, капитан Лесли! — крикнул было ему Корнилов, но выстрел из орудия вблизи заглушил его слова.

Корнилов прошел дальше, но когда сказали Лесли, что на бастионе Владимир Алексеевич, веселый командир батареи отозвался испуганно:

— Экая охота у человека шляться по всяким гиблым местам! Посоветовал бы ему кто-нибудь ехать домой!

IX

Между тем союзная эскадра, приблизившись к Севастополю с двух сторон — от устья Качи и от Херсонеса, — начала занимать по заранее поставленным буйкам намеченные для составлявших ее судов места.

Она запоздала. Она имела двух командиров различного темперамента. Французскими судами командовал адмирал Гамелен, английскими — лорд Дондас, — оба глубокие старцы.

Долго совещались они накануне, как провести атаку с наименьшими потерями для себя и наибольшими для русских фортов, для города и для остатков русского флота.

Был принят, наконец, план действий, которому нельзя было отказать в легкости и красоте: атаковать крепость, гуляя перед нею в море взад

и вперед, взад и вперед. Проходит корабль мимо фортов и дает залп изо всех орудий одного борта; затем снова заряжаются орудия — и новый залп... Так, пока цель из-за рельефа местности станет недосыгаемой. Тогда — обратный ход корабля и залпы из орудий другого борта.

Выгода этих прогулок перед фортами казалась несомненною: артиллерийская стрельба по подвижным целям давала в те времена плохие результаты; суда же на ходу по неподвижным целям стреляли недурно.

По требованию Раглана и Канробера атака с моря должна была начаться одновременно с канонадой на суше, чтобы не дать опомниться защитникам крепости, чтобы ошеломить их с первых же моментов и лишить воли к сопротивлению под тучами из чугуна, надвинувшимися сразу со всех сторон.

Но Гамелен за ночь (может быть, это была бессонная ночь, что свойственно старости) совершенно забраковал принятый было план «обстрела фортов» гуляя. Это показалось ему ребячеством. И утром Дондас услышал от Гамелена, что самым лучшим планом был бы точно такой, какой был проведен Нахимовым в Синопском бою: боевые суда должны стать на якорь и палить изо всех орудий одновременно, для чего французский флот развернется от Херсонесской бухты до Севастопольской, английский — от Севастопольской дальше на северо-восток.

— Но ведь над этим планом Нахимова — непременно привязать суда на якорь, чтобы они не разбежались в страхе, — смеялась вся Европа, — разве вы забыли это? — спрашивал пораженный непостоянством соратника лорд Дондас.

— Пусть Европа смеялась, но Нахимов все-таки истребил турецкий флот, — возражал Гамелен.

Новые переговоры вождей союзных эскадр шли долго. Гамелен не сдавался. Пришлось сдаться Дондасу, иначе это угрожало бы разрывом союза Англии и Франции.

Но сдача Дондаса влекла за собою изменение всех приказов по флоту, данных накануне, что тоже отняло довольно времени. Наконец, не было ветра, и огромные парусные корабли союзников могли

передвигаться только на буксире пароходов, значит, поневоле гораздо медленнее, чем это требовалось моментом, и главнокомандующие союзных армий выходили из себя, ежеминутно ожидая и не слыша начала бомбардировки с моря.

Корнилов был уже на Малаховом кургане в то время, когда соединенные эскадры, со снятыми парусами, медленно приближались с севера и с юга. Ведущими кораблями были французские, английские смиренно шли сзади, а в самом хвосте — несколько турецких судов.

Паровой корабль «Шарлемань», подойдя к берегу так близко, как позволяла глубина воды, собрал около себя суда, предназначенные для обстрела южных фортов; это были суда французского и турецкого флотов. Английским судам предоставлены были форты Северной стороны.

Когда Корнилов узнал, что с верхнего этажа башни на кургане можно при удаче, если осядет пороховой дым, наблюдать, как расстанавливаются суда союзников, он, не задумываясь, пошел было туда, но Истомин уверил его, что за дымом и оттуда ничего не видно, но башня — самое опасное место на бастионе.

— Там ничего нет, на этой верхней площадке, — я оттуда приказал снять и орудия, и оттуда ничего не видно, — повторял он, решительно становясь на дороге между Корниловым и башней. Башня действительно, как самая высокая точка бастиона, осыпалась роем снарядов.

— Вы говорите со мною так, будто я ребенок! — несколько даже обиженно сказал Корнилов.

— Вы наш любимый начальник, Владимир Алексеич! Вам надо беречься для нас, для нашего общего дела!

И он, бесстрашный на своем кургане, как был бесстрашен на корабле «Париж» во время Синопского боя, глядел на него умоляющими глазами.

— Со всех бастионов меня, — точно все сговорились, — гонят домой, — скорее грустно, чем благодарно, улыбнулся Корнилов. — А для меня этот день — торжественный.

У него и вид был торжественный. Обыкновенно сутулый, он выпрямился и стал выше; глаза его сделались шире, осанка тверже,

даже голос звучнее.

— Вы видели все на Малаховом, Владимир Алексеич. Тут все будет идти и без вас, как при вас... Зачем же вам быть здесь, где смерть кругом?

— Я не спросил еще у вас, как вы находите, — будут ли вам полезны арестанты, Владимир Иванович?

— Всякий лишний человек при таких потерях полезен...

— Кроме меня?

— Кроме вас, — твердо ответил Истомин, заметив, что Корнилов медлит оставить бастион.

— Часть арестантов вы пошлите на третий бастион, — так человек сто... Там тоже огромная убыль людей.

— Есть, — отозвался Истомин, но смотрел по-прежнему умоляюще.

Между тем стояли они недалеко от башни, и около них то и дело падали, подпрыгивали и катились ядра.

— Могут убить лошадей наших, — сказал Жандр уныло.

— Мы сейчас едем, едем, — но только мне хотелось посмотреть вон те полки, — показал на Бородинский и Бутырский полки, приготовленные для отражения штурма, Корнилов.

Он простился с Истоминным, который отошел успокоенно, и двинулся к лошадям, говоря Жандру:

— Вот только погляжу на солдат, и поедем госпитальной дорогой домой.

Но едва он сделал несколько шагов, выбирая место для ног на совершенно искалеченной бомбардировкой земле, как упал. Жандра отбросило горячей струей сжатого воздуха то самое ядро, которое ударило Корнилова в левое бедро и раздробило ногу около живота. В луже крови, опрокинувшись навзничь, бледный, с закрытыми глазами, адмирал лежал без сознания.

— Носилки! Носилки сюда! — плачущим голосом кричал Жандр, но уже бежали со всех сторон матросы, солдаты, арестанты...

Сюртук Жандра спереди был залит корниловской кровью.

Тело бережно подняли и понесли на руках на насыпь, где положили между запасными орудиями.

— Кончился? — спрашивали один у другого.

— Видишь — кончился!

Крестились, снимая фуражки.

Три английских батареи громили в этот памятный для России день Малахов курган: одна, в двадцать четыре орудия, на горе между Лабораторной балкой и Доковым оврагом; другая возле шоссе и дороги и третья, прозванная «пятиглазой», у начала Килен-балки, идущей к Южной бухте. Поэтому на Малаховом было так же трудно держаться, как и на третьем бастионе.

Но когда разнесся слух, что смертельно ранен и уже умер Корнилов, то многие бросились из-за прикрытий только затем, чтобы в последний раз взглянуть хотя бы на его тело.

Несколько офицеров обступили тело. Но вот открылись глаза Корнилова, обвели опечаленные лица внимательным взглядом, зашевелились губы, и кто был ближе и наклонился к ним, слышал: — Отстаивайте... Отстаивайте Севастополь!

Потом снова закрылись глаза и сжались губы, и не знали кругом, умер ли он, или только потерял сознание снова.

Жандр вспомнил о перевязочном пункте, мимо которого ехали они сюда, проезжая Корабельной слободкой, и четверо дюжих матросов понесли на носилках своего адмирала на этот перевязочный пункт. Жандр считал неудобным сидеть на своей лошади и вел ее в поводу за носилками, а за лошадью Жандра вели лошадь Корнилова.

Когда грустное шествие увидела первая русская сестра милосердия Даша, она всплеснула руками и стояла оцепенев, потому что видела и узнала Корнилова, когда он проезжал на Малахов, и по его лошади, которую вели, догадалась, что несут к ним адмирала, который обещал о ее «подвиге» написать в Петербург.

Она не решилась уже теперь сказать: «Ничего, заживет!», как говорила не только на Алме, но и здесь раненым матросам, солдатам и офицерам: по лицам всех, кто был около этого раненого, она видела, что не «заживет», — нет!

Два врача перевязочного пункта осмотрели рану, переглянулись, покачали безнадежно головами и сказали, что перевязку они сделают, но надо вызвать священника, чтобы адмирал закончил свою жизнь принятием тайн, как это подобает христианину.

— Когда же можно ожидать смерти? — оторопело спросил Жандр, в первый раз почувствовав именно теперь, что левая сторона его тела контужена тем самым ядром, которое убило Корнилова.

— Может быть, вы распорядитесь отправить раненого в Морской госпиталь, — там ему будет спокойнее, — вместо ответа предложил ему старший врач.

— Хорошо, — понял его Жандр, — я сейчас отправлюсь доложить о нашей потере генералу Моллеру, чтобы больше от Владимира Алексеевича не ждали приказаний... И также Нахимову... Буду проезжать мимо госпиталя, пошлю сюда оператора и носилки.

И поглядев на живого еще, хотя и с закрытыми глазами, адмирала в последний раз, Жандр, несвободно владея левой ногой, вышел.

Носилки из госпиталя были принесены через полчаса, когда Корнилов был уже в сознании, но они были поставлены так, что приходились со стороны раздробленной ноги, и санитары не знали, как положить на них раненого.

Корнилов поднял голову, оперся локтями и перевалился через почти оторванную ногу сам в носилки, спасительно потеряв при этом сознание снова на долгую дорогу к госпиталю, когда то и дело опять падали рядом пролетавшие через бастион ядра.

Теперь ревело уже все кругом, потому что начала бомбардировку фортов союзная эскадра.

Отдельных выстрелов уже не было слышно: безостановочно гремели теперь тысяча семьсот орудий с той и с другой стороны, и если до этого сквозь дым бастионов иногда проблескивало далекое штилевое море, то теперь уж и море было в сплошном дыму.

Казалось, что вместе с Корниловым доживает свои последние часы и Севастополь, поэтому в госпитале никто не думал делать операцию раненому, и когда он пришел в себя и попросил какого-нибудь лекарства от сильной боли в животе, ему дали только несколько чайных ложечек чаю.

Здесь нашел его один из его адъютантов, капитан-лейтенант Попов. Увидя Попова, Корнилов заметно оживился, как будто один вид прискакавшего верхом адъютанта, от которого шел запах конского пота, внушал ему, смертельно раненному, мысль, что надо тоже на

лошадь и скакать на бастионы.

Попов был так поражен беспомощным видом своего адмирала, что глаза его заволокло слезами.

— Не плачьте, Попов, — заметил это Корнилов. — Я еще переживу поражение англичан!.. Моя совесть спокойна, и умирать мне не страшно... Но я хотел бы видеть Владимира Ивановича.

Попов дал свою лошадь одному из солдат, и тот поскакал на Малахов курган за Истоминым.

Сознание больше уже не покидало Корнилова. Гул орудий, от которого дрожали и звенели не только окна госпиталя, но даже и стены, начиная с фундамента, заставил его набожно перекреститься и сказать:

— Благослови, господи, Россию, спаси Севастополь и флот!

Он просил Попова послать юнкера гардемаринской роты Новосильцева, брата своей жены, в Николаев, сказать там жене и детям, что он ранен...

Истомин явился, встревоженный донельзя. Он, боевой адмирал, руководивший теперь делом обороны крупнейшего и важнейшего бастиона, на котором каждую минуту видел ужасные раны кругом и растерзанные снарядами тела, заплакал, подойдя к койке Корнилова.

— Не верю, нет, не верю, Владимир Алексеевич, чтобы ваша рана... Вы поправитесь, поправитесь! — повторял он, хватая его обеими руками за руку, точно силясь удержать его, отбить у надвигающейся смерти.

— Нет, туда, туда, к Михаилу Петровичу! — Корнилов указывал глазами вверх.

Попов знал, конечно, что Михаил Петрович был адмирал Лазарев, создатель могущественного Черноморского флота, внушавшего опасения англичанам, знал также, что Лазарев особенно ценил и выдвигал Корнилова как своего заместителя.

По просьбе Корнилова Истомин рассказал, как идут дела на бастионе.

Корнилов внимательно слушал, наконец сказал:

— Вам надо спешить туда, Владимир Иваныч... Прощайте!

— Благословите меня! — Истомин стал перед койкой на колени.

Серьезно, важно и медленно благословил своего младшего товарища

умирающий; они обнялись в последний раз, и Истомин выбежал из палаты, чтобы не разрыдаться на глазах капитан-лейтенанта.

Еще около часа просидел с ним Попов. Иногда Корнилов слабо вскрикивал от сильнейших болей, тогда его опять поили с ложечки чаем...

Но вот явился посланный Истоминим лейтенант Львов с радостной вестью. Его не хотел было впускать врач, чтобы не тревожить раненого, но Корнилов сам просил, чтобы его впустили.

— Английские орудия сбиты, — доложил ему, как командующему обороной, Львов. — Осталось действующих только два орудия!

— Ура!.. Ура!.. — радостно отозвался на это Корнилов, сложив на груди ладони, как будто хотел в них захлопать, и умер через несколько минут, дождавшись все-таки, как и хотел, поражения англичан против Малахова кургана.

Х

Витя Зарубин и Бобров на полной свободе ходили по городу, который обстреливался с нескольких батарей, главным образом английских, имевших более дальнобойные орудия.

Они побывали на Малой Офицерской, чтобы посмотреть, уцелел ли дом Зарубиных, и на Малой Морской, где жили Бобровы, и около порта, вход в который охранялся часовыми, и около фортов. Самыми же любопытными были для них те места, на которых падало больше снарядов.

Когда же увидели они, как, развернувшись веером, подходили на буксире пароходов огромные линейные корабли союзников для состязания с фортами, их глаз ничто уже больше не могло оторвать от моря.

Правда, от пышной картины выстроившихся полукругом кораблей не осталось ничего, как только началась канонада.

Корабли тут же окутались сплошным дымом, сквозь который пробивались только изжелта-красные вспышки залпов.

Но это был первый в их жизни бой эскадры с береговыми фортами и фортов с сильнейшей эскадрой; это было как раз то самое, к чему они готовились сами, что осмысливало их жизнь, с чем они были связаны

сотнями крепких нитей.

Они могли бы по отдаленному выстрелу из одной пушки или мортиры определить на слух ее калибр; но здесь был оплошной, нераздельный и нескончаемый гром и рев, утопивший все отдельные калибры; они могли бы без бинокля определить степень меткости огня своего и чужого, но здесь все было заволочено дымом.

Однако же были такие моменты (они жадно ждали и ловили их), когда мачты и реи кораблей показывались из оседавшего дыма, и они торжествующе кричали:

— Ага!.. Смотри! Смотри сюда! Видел? — и показывали друг другу, как все больше растерзанными становились с каждым таким моментом корабли союзников.

Им показалось однажды, когда почему-то ниже осел дым, что двух кораблей уже нет на их прежних, привычных, уже для глаз местах, и они кричали:

— Утопили их наши! Молодцы!.. Честное слово, утопили!

Корабли эти, правда, не были потоплены выстрелами с фортов, но они были приведены в такое состояние, что должны были выйти из строя, и пароходы, сами пострадавшие, отвели их на почтенное расстояние от фортов.

Пятнадцатилетние юнкера, увлеченные боем, не замечали, что время идет, что уже три часа пополудни... Их не беспокоило даже и то, что часть неприятельской эскадры обстреливала форты Северной стороны, куда спаслись от канонады сухопутных батарей их семьи: они твердо надеялись, что при таком многолюдье бежавших из города, какое оказалось там, все своевременно уйдут в безопасные места.

Они искали такого места, с которого лучше могли бы видеть весь флот союзников, и, передвигаясь для этой цели, натолкнулись еще на двух юнкеров своей роты. Один из этих юнкеров был Новосильцев, брат жены Корнилова, несколько старше Вити, рослый и крепкий.

Он едва взглянул на Витю и Боброва; у него был растревоженный вид; он спешил.

— Куда ты? — крикнул ему Бобров.

— Дядю убили! — крикнул, не останавливаясь, Новосильцев.

Витя и Бобров знали, что «дядей» он называл Корнилова. Они

посмотрели друг на друга ошарашенными глазами и кинулись догонять Новосильцева, а когда узнали от него, что Корнилов теперь в Морском госпитале, пошли туда вместе. Первый в их жизни бой как-то потускнел сразу перед сознанием того, что убит главный защитник Севастополя, на котором покоились все надежды.

Через Пересыпь, в тылу бастионов, четверо юнкеров вышли на Корабельную сторону и пришли к Морскому госпиталю как раз в тот момент, когда тело Корнилова на носилках выносили, чтобы поставить его в Михайловском соборе.

Ближе всех к телу был Нахимов.

Жандр нашел его не на пятом бастионе, где, руководя стрельбой из орудий, адмирал добился такого успеха, что заставил замолчать французские батареи. Он был уже дома и обедал, но когда услышал о смертельной ране Корнилова, выронил ложку, закрыл рукою глаза и тут же, как был, пошел к своей лошади, бормоча горестно:

— Ведь я говорил ему!.. Ведь я просил его!.. И вот! Ведь я предупредил его!.. Эх, горе! Эх, Владимир Алексеевич... И как же теперь?.. Кто же теперь?

Капитан-лейтенант Попов, бывший при умирающем Корнилове, вместе с несколькими служителями госпиталя взялись было за носилки, но Витя Зарубин, Новосильцев и двое других юнкеров решительно придвинулись к Попову и сказали:

— Разрешите нам! Мы понесем!

И никому потом не уступали они этой чести.

Но на половине пути они почувствовали, как дрогнула земля у них под ногами, и дрогнула на носилках в их руках дорогая ноша; и сквозь слитый рев орудий прорвался вдруг грохот, покрывший даже и этот тысячеорудийный рев, потому что раздался он где-то близко.

Все переглянулись не понимая. Кто-то крикнул: «Взрыв!» Нахимов поспешно садился на своего рыжего, и через минуту его уже не было видно: он скакал от одной утраты в сторону другой.

Это был взрыв порохового погреба на третьем бастионе. За час перед тем командир бастиона Попандопуло был ранен в голову и отправлен в госпиталь к сыну, оправдав то, что прокричал ему на ухо, и сын умер на его глазах; бастионом же пришлось командовать Лесли.

Между тем бастион все слабел и слабел. Уже больше половины орудий на нем было подбито. Три раза переменился весь состав прислуги при орудиях. Люди были уже усталые и одурманенные десятичасовой непрерывной канонадой. Все прикрития были разворочены ядрами, и восстанавливать их не было возможности под сильнейшим огнем...

Пороховой погреб бастиона защищен был накатом из толстых бревен с достаточным, как казалось, слоем земли на нем, но огромный снаряд осадного орудия пробил крышу погреба, и раздался взрыв.

Действие этого взрыва было ужасно.

Из двадцати двух орудий двадцать оказались засыпанными землей; из ста с лишком человек, бывших в то время на бастионе, уцелели, и то сильно контуженные, только шесть человек, включая сюда и начальника артиллерии дистанции Ергомышева.

Когда контуженный в голову Ергомышев очнулся, он не понимал еще, что такое случилось с ним и с бастионом, но его ногу дергал лежавший на нем поперек матрос, который кричал ему:

— Слышь! Это твоя нога или это моя нога?

Глаза матроса, как и все лицо его, были залиты кровью, веки слиплись.

Кое-как высвободившись и приподнявшись, Ергомышев увидел кругом себя вздыбленную землю, а во рвах сброшенные туда, как в готовые братские могилы, чудовищно растерзанные трупы — обгорелые, безголовые, безрукие...

И все падало что-то сверху — какие-то комочки, какие-то клочья коричневого цвета, от которых сильно, нестерпимо пахло паленым.

Ергомышев, пересиливая боль в голове, поднял лежавшего на нем матроса, ноги и руки которого оказались в целости, а рана на голове неопасной. Тот протер глаза закопченными черными руками, и, один поддерживая другого, они помогли подняться еще четверым.

— А где же капитан-лейтенант Лесли? — спросил Ергомышев.

— Раз не объявляется в живых, то значит...

— К орудиям! — скомандовал Ергомышев.

И пять человек, оставшихся в живых из всей орудийной прислуги бастиона, спотыкаясь о глыбы земли, ядра, куски лафетов, трупы товарищей, пошли к двум уцелевшим орудиям, оглядываясь друг на

друга и ища кругом глазами, где взять для этих орудий снаряды, чтобы продолжать стрельбу, чтобы показать ликующему противнику, что третий бастион еще жив.

Но из подпиравших бастион пехотных частей штабс-капитан Хлапонин вел уже им на смену своих артиллеристов: третий бастион все-таки не был приведен к полному молчанию.

Долго потом составляли человеческие тела, или только отдаленные подобия их, из разбросанных всюду рук, ног, туловищ и голов, но тела храброго воина Евгения Ивановича Лесли так и не нашли.

XI

Флаг адмирала Гамелена был на корабле «Город Париж». На этом корабле был поднят сигнал: — «Франция смотрит на вас!» — французские корабли вместе с турецкими выстраивались для начала боя в шахматном порядке, в расстоянии несколько больше километра от берега, так же без выстрела, как год назад эскадра Нахимова в Синопской бухте, хотя с форта Александровского и 10-й батареи их и осыпали снарядами.

От первых же выстрелов орудия нагрелись так, что около них, как и на бастионах, нельзя было стоять не только в шинелях, как полагалось ходить в октябре, но даже и в мундирах: орудийная прислуга действовала в одних рубашках с расстегнутыми воротами.

Из линии судов, ставших так, чтобы нести возможно меньше потерь от русского огня, вырвался вперед только паровой корабль «Шарлемань», ставший против входа на Большой рейд, чтобы обстреливать суда Черноморского флота и город: на нем даже видны были люди на палубах. Когда первыми же выстрелами сбит был на нем трехцветный флаг, он тут же поднял другой такой же. Он щеголял неустрашимостью своей команды, но первый же и вышел из строя: удачно пущенная бомба, пройдя все три его палубы, разорвалась в машине, и он был уведен на буксире в два часа дня.

Недолго после него держался и корабль «Наполеон», пораженный в подводную часть, а вслед за ним и «Париж» тоже вынужден был оставить свою позицию.

Флагманский корабль этот пострадал особенно сильно. В одну только

оснастку его попало около ста снарядов; более пятидесяти пробоин получил он, причем три — в подводную часть. Несколько раз возникали на нем пожары; их тушили, и корабль все еще стоял и посылал залп за залпом из шестидесяти орудий одного борта.

Но вот бомба разорвалась близ капитанского мостика; снесен был ют, убит адъютант Гамелена, ранено несколько офицеров его штаба, а старый адмирал, понявший, наконец, что Севастополь далеко не Синоп, приказал буксирующему пароходу вывести «Париж» за линию огня в тыл.

Как в артиллерийском состязании на суше, так и тут французы первые потерпели поражение, хотя имели на своих и турецких судах тысячу шестьсот орудий против девяноста шести орудий фортов Южной стороны.

Правда, в деле были только орудия одного борта кораблей и пароходов, то есть восемьсот, но и этот перевес в силах был громаден. И хотя суда стали на якоря, но якоря в случае нужды поднимались, и подбитые корабли уходили, — форты же представляли неподвижную цель и должны были рассеивать свой огонь по многим направлениям.

Навестив третий бастион, где кое-как устраивалась свежая смена, Нахимов направился к шестому и седьмому, от которых не так далеко была батарея № 10, боровшаяся с эскадрой противника.

Попутно он послал своего адъютанта на корабль «Ягудиил» с приказом, чтобы оттуда была свезена на третий бастион команда в семьдесят пять человек, а из пехотной части при пятом бастионе вызвал партию охотников для подноски снарядов на третий бастион.

Была сильная опасность, что именно со стороны этого разрушенного укрепления союзники пойдут на штурм, поэтому нужно было сделать все, чтобы подтянуть сюда силы.

Но как адмирал, для которого флот и форты крепости были кровным делом, Нахимов стремился и туда, на батарею № 10. Однако все пространство между этой батареей и бастионами шестым и седьмым было сплошь засыпано ядрами и осколками разрывных снарядов, перелетавших через цель.

Если сильнейший огонь развивали десятки орудий сухопутных укреплений союзников, то восемьсот орудий морских, действовавших

безостановочно и залпами, не давали надежды пробраться на батарею № 10, чтобы узнать, осталось ли там что-нибудь живое. Густой дым скрыл ее от глаз, а выстрелов с нее не было слышно. Отдельных выстрелов не было слышно вообще, — был сплошной гром, грохот, рев, не сравнимый ни с чем в природе. Позже об этой совершенно исключительной в истории осады крепостей бомбардировке говорили, что ее было слышно не только во всех самых отдаленных концах Крыма, но и на кавказском побережье.

И все-таки нашелся храбрец, который вызвался сам пробраться сквозь эту чащу падавших снарядов на батарею № 10.

Это был лейтенант Троицкий, который подобрал несколько человек таких же смельчаков-охотников из матросов, и они пошли.

И Нахимов и другие, отправлявшие их, ждали их долго, около часа, и думали, что все они погибли, как и несчастная батарея, но к сумеркам они вернулись, не потеряв ни одного человека, и Троицкий доложил, что батарея действует исправно, что потери на ней ничтожны, но что снаряды уже приходят к концу.

Однако к шести часам вечера эскадра франко-турок снялась с якорей и ушла под прикрытием дыма и сумерек.

Нахимов посылал и на Северную сторону узнать, что делается там, как отбиваются форты Константиновский и Карташевский и Волохова башня с ничтожным числом своих орудий от большого английского флота.

Но когда посланный, вернувшись, донес, что за деятельностью фортов Северной стороны наблюдает сам Меншиков, он успокоился.

Если четырнадцать кораблей французских и два турецких имели против своих восьмисот орудий одного борта только девяносто шесть на южных фортах, то одиннадцать кораблей английских против четырехсот шестидесяти орудий одного борта имели жалкое количество орудий на Северной стороне: пять на Волоховой башне, три на батарее Карташевского и восемнадцать на Константиновском форте.

Как человек, многие годы ведавший морским министерством, носивший адмиральский чин, часто последнее время плававший на военных судах у берегов Крыма, Меншиков с живейшим интересом

наблюдал подход и выстраивание английских кораблей: «Британии», «Трафальгара», «Кина», «Агамемнона», «Роднея» и других.

Очевидно, зная слабость фортов Северной стороны, они подошли ближе, чем на километр, чтобы бить наверняка и добиться победы в кратчайшее время.

Пять сильнейших кораблей атаковали Константиновскую батарею с фронта, четыре — с фланга и тыла, один фрегат — «Аретуза» — вступил в борьбу с маленькой батареей Карташевского, другой — «Альбион» — с Волоховой башней.

Слабость двух последних укреплений была известна Меншикову, но на Константиновской батарее, он знал, были огромные бомбические мортиры, и он жадно ожидал их сокрушительного действия.

Однако канонада шла, и все девять судов британцев стояли против Константиновского форта на своих местах.

— Почему же так плохо действуют там наши новые мортиры? — в недоумении спросил он одного из своих адъютантов.

— Мне передавали, но я не хотел этому верить, ваша светлость, — ответил адъютант, — будто эти мортиры приказано было сбросить в море, когда, после сраженья на Алме, ждали штурма.

— Как так — сбросить в море?.. Зачем же именно?

— Чтобы они не достались в руки неприятеля, ваша светлость.

— Ну, если так, тогда...

Меншиков бросил трубу, в которую силился рассмотреть что-нибудь сквозь дым, и повернулся к морю спиной.

Но и кроме этих утопленных мортир на Константиновском форте, бездействовали пять орудий, стоявших в казематах: английские корабли расположились так, что по ним из этих орудий совершенно бесполезно было бы открывать стрельбу.

Наконец, на этом форте было мало не только офицеров, но даже фейерверкеров, и у орудий стояли совсем малоопытные солдаты Минского резервного батальона, зря в самом начале выпустившие в море запас каленых ядер и плохо знакомые с наводкой и прицелкой.

Поэтому Константиновский форт понес очень большие потери. Все орудия верхнего этажа каземата были подбиты или совсем опрокинуты; на дворе взорвались три зарядных ящика, и взрыв этот

произвел большое опустошение.

Но и из английских кораблей три — «Кин», «Лондон» и «Агамемнон» — несколько раз загорались и выходили из строя. «Агамемнон», наконец, ушел совсем. А боровшиеся с батареей Карташевского и Волоховой башней фрегаты «Аретуза» и «Альбион» получили так много пробоин, что их повели чиниться уже не в Балаклаву, а в Константинополь.

Двадцатью минутами позже французской ушла от Севастополя и вся английская эскадра, чтобы уж никогда за все время осады не пытаться больше атаковать севастопольские форты.

Начавшись в половине седьмого утра, кончилась в половине седьмого вечера и бомбардировка с суши, показавшая союзникам, что пока нечего и думать о штурме, что осада Севастополя обертывается делом трудным, затяжным, требующим огромнейших средств и жертв, и что канонаду с такою же, если не с большей, силой надо продолжать на следующий день.

А севастопольцы, пережившие такой ураган событий в течение двенадцати часов, принялись чинить укрепления, подвозить новые орудия и устанавливать их взамен подбитых, вводить на бастионы новых людей на смену выбывшим из строя.

Но так как никто не мог заменить погибшего Корнилова, то Меншиков назначил на его место старшего из вице-адмиралов, командира порта Станюковича. Его почтенный семидесятилетний возраст служил явной и веской порукой его благоразумия.

Приказом по армии, гарнизону крепости и флоту похороны Корнилова были назначены на следующий день — 6 октября, в пять часов пополудни, в том самом склепе, в котором погребли адмирала Лазарева.

В наряд для проводов тела назначались: батальон моряков, батальон пехоты и полубатарея из четырех орудий.

1937 г.